

В апреле—мае 1912 года события внутренней жизни неожиданно приводят меня к личной встрече с Р. Штейнером; но эта встреча ведет к моему присоединению к "Делу" Штейнера, в котором для меня проясняется следующий этап моего же пути; после "Эмблематики", несовершенного сколка к мне ясной теории, установка которой аналитическая, меня должны были заинтересовать вопросы диалектики; *диалектика* — выход из *аналитики*, которая — *статическая* схема, нуждающаяся в *динамике*; и этой динамической диалектикой является для меня антропософия, ставящая удар на проблемы культуры мысли в самосознании; и уже из самосознания выводящей диалектику состояний сознания, спаивающей в конкретный плюро-дуо-монизм природу и культуру; внутренние же мотивы приближения к Штейнеру определились всем строем исканий "пути" с 1909 года (а отсюда и опытного руководителя); после "краха" с Минцловой искание руководства в сферах, указанных Минцловой, пресекалось, а "препоны", стоявшие между моим подходом к Штейнеру, пали; они заключались в одностороннем и предвзятом недоверии к христологии Штейнера; подход к христианским курсам и лекция "Христос и двадцатый век" сняли недоразумение в трактовании мной (сквозь призму Минцловой) христианских воззрений Штейнера.

Путь от "Символизма" к антропософии для меня оказался продолжением пути, уже мной намеченного в "Эмблематике", а удивительные указания Штейнера мне над установкой методов внутренней работы и постоянная возможность общения на почве этой работы естественно ввели меня в коллектив личных учеников Штейнера; вступление в "Антропософское общество" было лишь внешним оформлением давно назревшего внутреннего факта; человек, еще в 1907 году кончающий статью "Ницше" цитатой из Безант о "высшем сознании" и на протяжении пяти лет упорно думающий и читающий литературу на эти темы, должен был в 1912 году оказаться в рядах людей, сгруппированных вокруг Штейнера. Никакого зигзага в пути не произошло.

С той поры особенно осязаю тесный знак равенства между моей стародавней сферой *Символа* ж сферой Христа, вторично грядущего в новую культуру (для меня — символизма, для Штейнера — антропософии); в циклах Штейнера я имею гнозис о Христе, впервые удовлетворяющий и *познавательно*, и *опытно* (т. е. в согласии с опытом моих переживаний эпохи "Симфоний"). Напомню: испорченный мной в эпоху

мрачных 1906—1907 годов *"старый"* текст 4-й "симфонии" (написанный в 1902 году, *искаленный* в 1906 году в "Кубок Метелей") переполнен фразами *"Пора в этот старый мир... Я несу парчовые ризы всех вещей"*. Или: *"Гряди, жнец, гряди... Скажи: "Я — с вами"... Се грядет жатвою.."* Еще в 1902 году в этих фразах для — ритм пришествия сферы Символа, или Христа. В 1912 году мне вполне гнозис переживаний этого рода — в циклах Рудольфа Штейнера, не говоря уже о том, что *аналитически* поднимаемые "Эмблематикой" стародавние темы многогранности, комплексности, символизации, *диалектически* мне вскрыты в антропософии; а трехчленность в идее сфер Символ — символизм = символизация, полифонно устанавливаемый в контрапункте методических *триад* (теза — антитеза — синтез, форма — содержание — эмблема символизации), находит свою диалектическую конкретизацию в контрапункте "7", где 1, 2, 3 суть абстрактно представимые теза, антитеза, синтез; неповторимое "4" — целое их в культуре индивидуального комплекса, а 5, 6, 7 суть синтез, антитеза, теза в символе целого; так семирядность являет собой триаду (1, 2, 3), развернутую в расширяющую спираль, в которой "1" (тезы) уже — 1—2—3, "2" (антитезы) — 4, а 5—6—7 (синтеза) — "3"; но ж эта тенденция к расширению любого треугольника схемы моей пирамиды эмблем в "Эмблематике" имела свою отметку в тенденции рассматривать треугольник высшего порядка, как сложенный из "4" треугольников, где Δ изучался в (см. "Эмблематику"); закон разверта, или диалектика изменения смысла в триаде от взятия ее в комплексе четырехзначной триадности, и есть ритм антропософской семерки, как бы усиливающей сочетать *"троицу"* с пифагорейским *"четыре"* в проблему седмиричности ($3 + 4 = 7$).

Намек, здесь ставимый мною, конкретно изучался всесторонне на протяжении 16 лет (с 1912 до 1928-го); но и в 12-м году он был мне непосредственно ясен, как намек на возможность развертывания "Эмблематики смысла" в культуре антропософии.

Это ясное и более чем понятное согласие себя с собой (*символиста с антропософом*) оказывалось для всех непонятным; надо было иметь минимум здравого смысла в усвоении моего идейно-морального облика всей линии лет и минимум здравого смысла в усвоении антропософии (хотя бы из критицизма), чтобы не поднимать, с одной стороны, воплей о моем ренегатстве как символиста и, с другой — не поднимать дотошно-сентиментального стиля нравоучений мне, что, мол, пора наконец отказаться от познавательных заблуждений *"Андрея Белого"* и с полным отказом от свободомыслия пассивно воспринимать основы *"сверх-человеческой"* мудрости Рудольфа Штейнера; последние указания тотчас же поднялись из антропософского лагеря, весьма затрудняя мне и без того трудное положение — лавировать между антропософской *"догматикой"* и *"догматикой"* антропософии; с тою и этой *"догматикой"* для меня все было кончено в стародавние времена, когда я выдвигал старый лозунг *"критицизм плюс символизм"*, так что я не понимал, ради чего я должен был *каяться* перед антропософами и антиантропософами.

Между тем к этому моменту покаяния меня возвращало письмо Метнера в Брюссель, воспринятое как грубый удар кулаком в спину после моего *"бегства"* от его московских придинок; к этому же моменту меня возвращали сухоназидательные, как бы подозревающие в чем-то письма *"орфейков"*, из которых двое были... антропософами.

К ярчайшему моменту радости встречи со Штейнером присоединялся горчайший момент иррационально неприятного отношения ко мне

всех из Москвы — за что? За то, что я 1) усиленно строчил статью в *"Труды и дни"* о символизме, который выдумал от меня защитить мало что в символизме усвоивший Метнер, 2) что я в то же время усиленно писал "Петербург", который упрекавшие меня в гибели люди поздней встретили как лучшее мое произведение, 3) что я, кроме того, внимательно изучал антропософскую литературу, а потом и посещал лекции Штейнера, отдаваясь упорной медитативной работе, за которую не раз получал яркое одобрение от самого Штейнера.

Я, как нарочно, в этот период старался угодить всем: 1) требующих от меня верности *символизму*, 2) искусству, 3) успехам в пути антропософского гнозиса; за последний я получал похвалы лишь от Штейнера сквозь строй попечений обо мне друзей-антропософов, чтобы я не зазнавался и знал себе место (я и не зазнавался); за успехи в писательской карьере (как-никак писал *"лучшую"* свою книгу — по позднейшему мнению многих антропософских *"врагов"*) — за успехи здесь получал лишь наиздания, что — погиб для искусства; а за усилия писать на тему: что есть *"символическая школа"* получал реплики: предал *"символизм"*.

Тщетно бросался я с объяснительными письмами, что ничто не изменилось, к Метнеру, Киселеву, Рачинскому, Морозовой, Крахту; художественная, философская, религиозная и буржуазная Москва постановила: "Погиб, впал в идиотизм". Метнер под флагом сожаления обо мне не только разносил эту легенду по московским салонам, но и завез ее в Петербург, а Блок, к которому я обращался с роем объяснительных писем (понятно — он один мне меня *не ругал*), все объяснения обмолчал в "Дневнике", куда он заносил мелочи, вплоть до заявления о том, что *"выпил бутылку рислинга"*; легенду же Метнера, обидную для меня, без оговорок закрепил в "Дневнике": мне в *"заупокой"* и в *"воздравие"* клеветникам.

Что меня считали не символистом и что по этому поводу сожалели люди, задавившие символизм в *"Мусагете"* (Метнер, "логосы" и т. д.) — явствовало хотя бы из того, что приехавший ко мне в Базель Вячеслав Иванов с грустью спросил меня: как быть с символизмом после моего ухода из нашей символической тройки (Я — Блок — Иванов); а я вскоре после этого в Фицнау продолжаю строчить две статьи: *"Круговое движение"*, *"Линия, круг, спираль символизма"*, в которых *"символист"* поддерживает символизм с яркостью, о которой отзывается Метнер в Москве, что в статьях будто бы *"искры гениальности"*; и, несмотря на *"искры"*, я — идиот: очевидно, *"искры гениальности"* вспыхивали не в голове, сердце или воле, а в ...*"нупке"* (простите за выражение); я вообще разглядел черту, свойственную многим в отношении ко мне как художнику, мыслителю, лектору, публицисту; все мои достижения относились не к мучительной работе сознания, моральной фантазии, сердца или хотя бы работе в поте лица, взывающей к дисциплине *"мастера"*, а к *"таланту"*, вспышки которого — чрево (нечто вроде желудочного урчания, но — приятного); оттого-то так была жива версия о моем легкомыслии и непоследовательности; и оттого-то многие друзья не только не ценили моего творчества, но прямо-таки рассматривали его как нечто, препятствовавшее мне быть человеком; и я понимаю, что при взгляде на *"талант"* как животный урч, человек талантливый — вещь стыдная в своей безответственности. За темперирование во мне *"художественного урча"*, и принялись самозванные педагоги из антропософов.

Мне все трудно давалось; я более, чем кто-либо, работал: *в поте лица*; выходило: музеевед Киселев — это вот человек почтенный; поче-

му? Да не может до конца довести ни одной из работ: из ответственности. Я же, работу до конца доводящий, именно поэтому *не заслуживаю доверия*: талант. Даром дается.

"Взурчу" — и книга о 600 страницах.

Отсюда — режим опеки, строгости, переходящий в игнорирование и третигование (за 600-страничные книги); надо было мне выявить себя как плод гранаты сухой, из которой *"тицетно тцатся"* выжать. Разумеется, такие мысли происходили в бессознании *"сознательных"*; что делать, если мне, *"бессознательному"*, сознательно увиделась уязвимость пята бессознания в *"сознательных"*. Разрушать предрассудок тысячелетий и водворить истину, что писатель есть или тип самосознающего, или — пустоцвет, — предприятие неподспудное.

В сущности, одаряя меня *"талантом"*, венчали меня именно этим пустоцветным венцом.

10

Мне трудно подходить к последнему крупному этапу непонимания меня, взятого в социальном разрезе; трагедия с антропософской средой, моим последним убежищем, длилась 15 лет; и остротой, и длительностью она превышала другие трагедии; если я уделил 12-летию литературной жизни (1900 — 1912) столь много места, то сколько же мне места уделить антропософской трагедии? С другой стороны: эта последняя ближе; не все еще мне видно здесь; эмоция еще рябит мне поверхность воды жизни, в которой отражается мое "я".

Все это обуславливает мою лапидарность: постараюсь говорить сухо о том, о чем мог бы говорить в бесконечных подробностях.

Считаю началом своей антропософской общественности мое появление в Мюнхене в июле 1912 года.

И тут скажу не о людях, а о восприятии мной всей среды, взятой в ее среднем уровне.

В Москве меня объявили погибшим; в Мюнхене меня не объявили ничем, потому что там я был ничем; в месте сложности проблем, составлявших содержание моей жизни, и в месте сложной литературной деятельности было *ничто*, в которое меня усадили; для гостей это было понятно; человек, пришедший со стороны, никому не известный, ведь мог оказаться всем, чем угодно; в момент появления я был *ничем*; и я ждал — сперва в неделях, дотом в месяцах, наконец, в годах, когда же из этого *"ничто"* для среды, в которую я пришел жить и работать, вылупится хоть что-нибудь из того, чем я был в действительности; но ничто не вылуплялось; *ничто* оставалось *ничем*; лишь в годах, на этой пустоте, бывшей в месте моего сложного морального мира, на границе социального моего выявления в западном обществе, как на скорлупе яйца, содержание которого — *ничто*, наслаивались какие-то весьма странные узоры, мне весьма неприятные, слагавшие даже не карикатуру, а просто чужую мне жизнь, ни в одном пункте не соответствовавшую моей жизни; и эта жизнь являлась мне восприятием меня: таким я был для среднего уровня среды, в которой провел четыре года жизни; этот *"он"*, или *"херр Бугаев"*, был наивным, неприятельным простаком, которого мало удостаивали беседой и уж конечно не удостаивали привлечением к активной работе в Обществе; образование *"херр Бугаева"* вряд ли простиралось выше третьего класса гимназии; он мог быть кем угодно — писателем, философом, слесарем, маменькиным сынком или кафрским Наполеоном — в обществе он был ничто с надписью на

оболочке: *"херр Бугаев"*. А то, чем он себя называл, — не играло роли; пятилетние мальчики себя называют в играх и "писателем", и "Наполеоном"; никто этим не потрясается; верно одно: — *"маменькины"* сынки; ну и случилось то, что тридцатитрехлетний уже *"херр Бугаев"* в сознании многих в обществе был пристроен в сынки к *"маменьке"*; *"маменькою"* такой сделали мадам Штейнер; одни справедливо возмущались картиною тридцатитрехлетнего *"бэби"* в коротенькой юбочке, ведомого *"маменькой"*, но негодование свое перенесли на меня, ибо гнусный вид *"бэби"* приписывали моему хитрому и весьма подозрительному подхалимству; другие же, относясь с доверием к моему созданному мифу о наивном *"простачке"*, — всерьез принимали великовозрастного лысого *"бэби"*; эти последние называли меня: *"Унзер херр Бугаев"*.

Меня спросят, как же я не разрушил *"мифа"*? Но что я мог сделать, когда меня ни о чем не спрашивали, когда на все попытки мои обнаружить действительность моего мира идей, круга забот, переживаний я встречал даже не противление, а глухоту, напоминающую глухорожденность; в чужой глухорожденности сидел закупоренный русский писатель, четыре года, как в бочке, переживая подчас чувство погребенности заживо; а в это время на поверхности бочки без возможности моей что-либо предпринять разрисовывались и *"бэби"*, и *"буки"*, и святой идиотик, в идиотизме росший в грандиозную чудовищность сверх-Парсифаля, и лукавая, темная личность, неизвестно откуда затершаяся в почтенное немецкое общество: втереться в непонятное доверие Рудольфа Штейнера, его жены и нескольких учеников Штейнера, *"наших уважаемых деятелей"* (Михаила Бауэра, Софии Штинде и других).

Так дело обстояло со средним уровнем среды, или с равнодействующей многих сотен антропософов, представителей многих сотен антропософов, представителей 19 наций Европы; и этот средний уровень *сотен* и *сотен* обстал меня плотным кругом *десятков* и *десятков* общений, которых нельзя было избегнуть и которые заключались или в разговорах о *"ви шен"*, *"ви тиф"* лекции Штейнера, или в непрошенных назиданиях меня о том, что у человека *"семь оболочек"*; средний немецкий антропософ исчерпывается в цыпочках своего стояния перед Штейнером, в необыкновенной болтливости и назиданиях новичкам, сим козлам антропософского отпущения (так я четыре года и просостоял в *"новичках"*) очень невысокой культурности и в любви к слухам и сплетням (окультурным и неоккультурным).

В быт этого среднего уровня и вынужден я был засесть, как в бест, после своего бегства из России.

Представьте ж себе мое действительное положение: прищемленный мифом о моей гибели, растимым в России, с одной стороны, и прищемленный двоякого рода легендами (о *"святом наивце"* и о *"прохвосте"*) антропософских мещан, — я должен был вырабатывать непредвзятость, контроль мысли, инициативу, равновесие, перенесение обид и семь ступеней христианского посвящения (от омовения ног до бичевания и положения во гроб), т. е. добродетели, необходимые для нормального прохождения "пути посвящения"; у меня были отняты, в качестве средства с людьми, мой родной язык (в немецком языке я косноязычен до ужаса), отнята возможность познакомиться с своим внутренним миром *грубо* не выслушивали), отнята рекомендация меня извне (я, как *"небезызвестный русский писатель"*), ибо всякая апелляция к *"Андрею Белому"* в недрах антропософского Мюнхена была *"чванством"*, за которое я, *"бэби"*, получал шлепки от добровольных воспитателей; наконец — отняты были и *"книги"* мои.

Так я со своею сложною 30-летней жизнью действительно погиб ' в безвестности внутри среднего уровня "А. о."; и в 1913, 1914 годах я всерьез думал, что меня уже "нет"; все личные вариации моего "я" упразднились под "общими скобками", на меня надетыми; но зато безобразное, безъязычное, связанное по рукам ж ногам в выявлении индивидуальное "я" поднялось над пленником воистину на орлиных крыльях: такого подъема, взлета узнаний я никогда в жизни не переживал; и этот *взлет* нес меня, минуя людей, к моему учителю Рудольфу Штейнеру, от которого я за четыре года получил безмерное.

Разумеется, Штейнер не относился ко мне по линии среднего уровня своих слушателей; спросят: почему же он *не нашел мне* в "А. о." более подходящего быта; для объяснения этого явления должен бы я разразиться трактатом о сложном, трудно понятном, парадоксальном отношении его к "А. о.". Ведь он даже не был членом "А. о."

Впоследствии я встретил в "А. о." ряд людей, от которых ко мне протянулись подлинные отношения; вследствие ряда причин, о которых здесь не скажешь коротко (опять — тема трактата), отношения эти оставались не видными для других; я попал в какие-то "никодимы"; "старшие" меня принимали, понимали, считались со мной, но — при закрытых дверях, так сказать; антропософский быт, посадивший меня в "ничто" и принимавший за "ничто", действительно не понимая знаков внимания, мне расточаемых Штейнером и некоторыми его учениками: отсюда легенда о *темной личности* (у злых) и о *"святом простачке"* у других (вероятно, добрых); любовь ко мне Штейнера и Бауэра, внимание мадам Штейнер ведь могло адресоваться к чистоте сердечных движений этого *"наивного создания"*.

Не спрашивайте меня об этой мучительной ж позорной стороне четырехлетия моего быта жизни (позорной — не знаю для кого: меня, что не умел отстранить его, других ли, меня одевших в позор); знаю лишь: хорошо, что русские не видели *"Андрея Белого"* в одежде скомороха; и опять-таки не знаю, для кого хорошо: для меня или для тех, кто не видел; даже враги мои в России содрогнулись бы, как был принят антропософским Западом русский писатель, пусть спорный, пусть малопонятный; может быть, у Игнатовых, Мельгуновых, Яблоновских и прочих, не нежно относящихся ко мне, вырвалось бы: "Позор для антропософской Германии, что *такое* случилось".

Но тут меня спросят: "Стало быть, Мережковские, Блок, Метнер, Булгаков, Бердяев и прочие, хоронившие вас, были правы. Вас и похоронили от 1912 до 1916 года?". На это отвечу: "Мне нет дела до того, что немецкий быт поместил русского писателя в пустую бочку и не отвел ему приличного места в обществе; это относится к идиотизму среды; что касается меня, — я это видел, сознавал, хотя и молчал: положение трудное, — но эта *"бочка"*, в которой я зажил, была в условиях трезвого ума и твердой памяти еще немного и Диогеновой бочкой; нечто от бочки Диогена появилось во мне; и когда я вышел из нее, то стал ходить с фонарем и искать *человека*, которого все еще слишком мало — и в антропософах, и в неантропософах.

Так бы я мог ответить.

И теперь скажу: соединение того огромного опыта, который во мне отложился от 400 лекций Штейнера, медитаций, эсotericических уроков и *"никодимовых"* приходов к Штейнеру с сидением в бочке, сознательных и бессознательных оплеваний и заушений моей брэнной личности в России и "А. о.", — все это, плюс тяжелая трагедия уже личной жизни моей, выявили в моем "я" и нечто от Диогена.

16 Андрей Белый

Из бочки, над бочкою увидел я мое "я" — высоко над собой; оттого-то я взял фонарь и несколько лет говорил о человеке, как *Челе Века*. Знак этого Чела на мгновения вспыхивал и над моим челом... в Дорнахе, когда это чело венчали тернии.

К большим событиям внутренней работы под постоянным контролем доктора Штейнера относится принятие меня в круг посетителей эзотерических уроков (так называемые "*эзотерише штунде*") весной 1913 года и в более интимный круг, в который принимались посетители последних и о котором Штейнер упомянул уже после закрытия этого интимного круга в своей книге; это второе принятие было в 1914 году, в Швеции; прикосновение к интимным кругам независимо от личного общения со Штейнером питало по-новому мою старую мысль о коммуне эзотериков: мысль о братстве. Но, выходя к обществу, состоящему из тысяч членов, я постепенно разглядывал: неправомерное перенесение Символов общины на учреждение "Общества" в фальшивом, ложноболезненном представлении о какой-то "*эзотерической общественности*", отличающейся "Антр. о-во" от других, "*светских*" обществ.

Этот дурной, невыправленный припах "*эзотерики*" в обществе и обратно, перенесение общественности в "*эзотерику*", составляет главный источник крахов антропософского движения на Западе; "*общественность*", переносимая в "*братство*", вносит в идею братства государственность; и эта государственность, принятая внутрь, безобразит внутреннюю линию отрывкой традиции, гиератики, "*орденства*" и тому подобными пережитками; наоборот, идея братства, перенесенная в устав, и совет общества совершенно формальные юридические функции советников облачают в какие-то ритуально понимаемые обряды миссионерства: вместо свободного расключения линий получатся безобразящая свободу склоченность, в результате которой ощущение "*бочки*", в которую тебя вклепывают; в уставе — "*свобода*", на кончике языка — философия свободы, а в действительности мироощущения епископский жезл, перед которым салютует в свободном порыве к... рабству.

Так было до 1915 года.

В 1915 году доктор Штейнер нанес удар подобного рода "*эзотерической общественности*". Но ни один удар Штейнера по обществу 1915 года, ни удар по разбухшей канцелярии общества 1923 года не вытравили "дурного запаха"; сила традиций — невероятна; всегда появляются и добровольные пастыри, и добровольные квартальные; первые тащат в гиератику, вторые — в государственный участок.

11

Пока шел разгляд моей новой сперва "*общественной*", а потом и "*общинной*" линии, углублялся отход от прежних друзей; в 1913 году мне пришлось уйти из "*Мусагета*" (формально я в нем еще числился); необходимость ухода — нарушение Метнером "*конституции*" между мусажетцами-антропософами и мусажетцами-антиантропософами; она заключалась в следующем: нам, антропософам, в "*Мусажете*" надевали цензурный намордник, чтобы мы писали в журнале о "*светских*", а не "*духовных*" вещах; со своей стороны: обещались в редакции открыто не подсиживать антропософию; мы — согласились, несмотря на карикатурность этого договора. И несмотря на это, за нашей спиной напечатали брошюру Эллиса против Штейнера.

Ответ — выход антропософов из "*Мусагета*"; для меня этот выход означал: вынужденный уход от всякой литературной работы; не ушел от

нее, но — меня *"ушили"* вопреки всем усилиям моим сохранить *"светскость"*, что я и доказывал до сих пор своими работами, хотя бы *"Петербургом"*, вторая половина которого писалась в 1913 году, а последняя глава уже после ухода из *"Мусагетга"*.

Как я был свободен от пропаганды антропософских *"догматов"*, а должен был нести бремя обвинения в ней, так же я был свободен от внесения *"богемного"* отношения к проблемам духа; а между тем: русские антропософы на Западе весьма часто подозревали во мне этот стиль кондачка; *"Андрей Белый"* — ужасно мешал им; и на какие жертвы ни шел *"Белый"*, чтобы доказать свою скромную неприязнительность, — ему не верили.

Не понимаю психологии иных русских антропософов на Западе; средний их уровень — выше немецкого общества; и тем не менее: фальшивое сентиментальное, подчеркнутое желание *"прибедниться"*, убавить свой рост и ходить на карачках перед стоящими на цыпочках немецкими "докторами", не оценивающими сих *"опрощений"*, — оно мне было чуждо? опрощенчество в сторону немецкой грубости и *"антропософская спесь"* в сторону России и русских, — вызывали мое тайное, а иногда явное возмущение, сходившее за *"бунт"*, так что я стал таить этот свой *"бунт"*; он учитывался как бунт против самой антропософии; так водворилось между мною и многими из русских *"дорнахцев"* атмосфера неискренности под флагом моего умолчания и меня *"потрепательства по плечу"*; во многом иные из этих русских выглядели для меня не *"смирennemудрыми посвященцами"*, а... декадентствующими стилизаторами (сказывалась их былая принадлежность к упадочным слоям русского буржуазного общества, зараженного эстетизмом и декадентским снобизмом); эти люди действительно старались уверить и себя и других, что у русских ничего, кроме туманно-отдаленного будущего, нет, и жили *"эмбрионами"* этого будущего, стилизуя себя под *"групповую душу"* с неродившимся "я"; помня иных из нас в их былой сверх-нищезанской и мистико-анархической фазе, мне столь враждебной, я видел в Дорнахе приближение этой фазы под мимику *"покорной ученицы"* средне-немецкому антропософу-мещанину с минимальным уровнем культуры подставлялись стилизованные, горе воздетые *"очи"* склоненной под ним опрошенки, а к русскому писателю, желающему *по правде* разобраться в клубках бытовых противоречий, это *"око"* представлялось с иным выражением: подозрительной неприязни и ничем не допустимой спеси.

Живя внутренне богатою жизнью в те годы, я должен сказать, что внешним образом я должен был жить по-волчьи, ибо я жил... в обществе тупиц и в соседстве с волками. Мой волчий вой переходил подчас просто в вой или, лучшая сказать, — в громкий плач: одинокого среди тех, кого ты обязан называть *"ближайшими"*: по крови и по узам личной жизни.

С 1912 года уже начался процесс моего тайного осознания ненормальности *"быта"* общества: сперва по фактам карикатурности своего положения; потом по фактам карикатурности других в этом *"быте"*, пока не обнаружилась бессмыслица смешения всеми нами двух линий в одну (*"государственности"* и *"духовной свободы"* в микстуре *"общества"*); общество не было символом новой культуры, а — синтезом, и только синтезом, обреченным, как всякий синтез, быть колоссом на глиняных ногах.

И наконец, после 1923 года мне стало ясным: антропософия *"минус"* общество равна возможности роста ассоциации духовно-свободных людей; в их усилиях к... грядущему *"братству"* и на физическом плане; антропософия *"плюс"* общество — равны одинаково для всех бессмысленному несению тяжелого... не хочу сказать *"креста"* (зачем унижать символ), а... надгробного камня, долженствующего раздавить несущих.

С 1912 до 1921 года я прошел все стадии к сперва углублению в себе фикций об *"эсотерической общественности"*, а потом и снятия их с себя: в 1913 году я, пережив имагинацию храмового строительства душ, увидел в *камне* основания *"Иоаннова здания"* (здания любви) новый камень души, на котором написано новое имя (смотри *"Апокалипсис"*); и, притянутый этою преждевременною символикой, явился в Дорнах работать над воздвижением *"храма души"*; служил в *"подканцеляристах"*, был резчиком и *"вахтером Бугаевым"*; в последней роли удостоился признания (единственного, как кажется); я думал, что сторожу камень основания новой культуры, а действительность, подменив *Иоанново здание* в тяжеловесие *"Гетеанаума"*, самый камень души уплотнила в *"камень просто"*; и этот *"камень"*, взваленный на плечо, едва меня не похоронил.

Стадия перерождения моего *"темплиерства"* в грубое *"вахтерство"*, окончившееся внутренним отказом от него, происходила в Дорнахе в трудную зиму 1914 — 1916 годов; и по мере того, как утонченность подхода к делу служения культуре *"Гетеанаума"* огрубевала в роптание *"вахтера"* на свою пустую повинность (охранять то, что подвержено гибели), линии моего лика для иных из антропософских друзей естественно перерождались: исчезал парсифализированный *"сверх-идиот"* и его тень, *"темная личность"*; и выяснялся мозолистый *"вахтер"* Бугаев, принятый честно другими *"вахтерами"*, товарищами по работе, честными ребятами, каких, слава Богу, встретишь в любой артели; этим кругом и замкнулся дорнахский быт.

Но когда уехавший *"вахтер"* в России был встречен *"писателем"*, то уже, разумеется, *"вахтер"* не мог вернуться в братские объятия общества, ибо он все же был больше *"Андреем Белым"*, чем *"вахтером"* среди возможных модификаций индивидуума *"Я"*.

"Вахтер" был нужен писателю *"Белому"*; а *"писатель"* — кому из дорнахцев был он нужен?

Этим определилась фаза моей антропософии в эпоху от 1916 до 1921 года.

Да, забыл сказать: вне *"вахтерских"*, всем видных в Дорнахе обязанностей я выполнил одну обязанность, никому в Дорнахе не ставшую известной, ибо *"вахтеры"* книг не пишут: я написал объемистую книгу *"Рудольф Штейнер и Гете"*, в которой разбил нападение Метнера на доктора Штейнера; и в отражении нападения попутно поставил знак равенства между былою статикой *"Эмблематики"* и ею же, взятой в диалектической динамике Штейнера; высоким удовлетворением мне служит одобрение моей мысли со стороны Штейнера, которому я устно пространно излагал позицию книги и который лично ознакомился с несколькими главами работы; ему их дословно переводили; две фразы меня успокаивают, когда я вспоминаю возражение на эту книгу со стороны руководителей Петербургского кружка антропософов: *"Ваша световая теория хороша"*; *"Вы написали прекрасную книгу"*.

В этих фразах — награда мне за усилия: понять былую линию мысли в фазах линии мыслей, посещавших в Дорнахе, где эта линия прошла, разумеется, катакомбно, так, как имел ее *"вахтер"*, а *"вахтеры"* — не мыслят; когда уже гораздо позднее на эти темы написал Штейн, общество толковало на тему книги Штейна. Когда писал *"вахтер"*, то линия его мыслей не могла обнаружить себя никак: также не могли обнаружить себя и линии мыслей *до* и *после* написания *"окультурной"* книги — *"окультурной"* не потому, что она трактует *"окультизм"*, а *"окультурной"* потому, что ее написал *"вахтер"*.

Мои раздумья о задачах антропософского общества вынашивались в годах — за пределами литературных кругов русского общества; мир для меня, многомерный и сложный, виделся этими кругами двухмерною плоскостью, в которую вплющившись русский писатель стал... *тенью*; иногда из теневой плоскости впоследствии выпадали книги или раздавался голос "живого" лектора; с книгами и с голосом считались» а они принадлежали... тени. Объяснение было найдено: похоронив "*Белого*" в антропософии в 1912 году, открыли в 1916 году: "Какой же Белый антропософ?". Между тем правильный анализ книг Белого должен был бы обнаружить: весь "*Петербург*" пронизан антропософией, и как раз в ударных "*психологических местах*", придававших роману удельный вес; относительно "*Котика Летаева*" Гершензон писал, что эта повесть вскрывает "*недра*". Какие же Недра памяти, видоизмененной антропософской культурой; и "*Котик*" писался как итог, результирующий опыт антропософа; "*Москва*" поздней подымала идею кармы и проблему отношения низшего "я" к "я" собственно. Самое любопытное, что антропософией навеянные темы не встречали отклика среди антропософов; перевод "*Петербурга*" на немецкий язык ужаснул немецких друзей; а перевод "*Кризиса мысли*" наткнулся на поголовное непонимание (может быть, оттого, что писал — "*вахтер*" Бугаев). Так было с "*художеством*".

И так случилось с выработкой конкретного антропософского сгедо; за антропософской защитой Штейнера, Штейнером санкционированной, не увидели базы "*символизма*"; и оттого ничего не увидели. Так тема, пригнавшая меня к антропософии, не нашла себе приюта в "*Обществе*"; и она же впоследствии находила приют не у антропософов, а у просто ценителей литературной деятельности Белого. Сопоставивши этот факт с фактом, что главные антропософские "*доктора*", в круге которых я прожил четыре года, не удостоили *ни разу* меня хотя бы пятиминутным разговором всерьез, зная, что я писатель и что я волнуюсь темой общества, горя желанием быть хоть чем-нибудь полезным. Мне и нашли точку приложения сил — ночную вахту при "*Гетеануме*". Факт необъяснимый и, говоря откровенно, недопустимый, — тем более, что за период 4 лет моего сидения под "*докторами*" доктора кричали с восторгом, что к антропософии примкнули такие знаменитости, как французский писатель Леви и как немецкий писатель Дейнхарт (кто, признайтесь, знает, кроме антропософов сих "*знаменитостей*").

Если бы не внимание ко мне Штейнера, Бауэра, жены Моргенштерна, графа Лерхенвельда, покойного Т. Г. Трапезникова, строителя "*Гетеанума*" Энглерта, доктора Геша, тонкой и умной Поольман-Мой, то мне нечем было бы помянуть четыре года сидения в недрах западного Общества в смысле идейно-морального общения; но и среди этих умных, тонких, образованных антропософов мои др. Геш и Энглерт, взбунтовавшись, ушли из общества; они были объявлены изменниками; не одобряю я их, но лишь *констатирую*. Должен сказать: бывали минуты, когда я не столько задавливал свой "*бунт*" против среды из сознания своей неправоты, сколько из чувства: не дать повода антропософским мещанам воскликнуть: "Вы видите: он вдет против антропософии и Штейнера". Пересидеть "провокацию" среды, не отдаться ей — не эти спортивные задания смыкали мой рот в молчанье, а горячая любовь и понимание трагедии Штейнера, несшего крест общения *с таким* средним уровнем и все большее осознание антропософского импульса как... своего.

Все это, вместе взятое, и заостряло мои думы о корне зла с обществом; и этот корень все более мне становился виден: *смешение* принципов общественной жизни с ритмами коммунальной без подлинной революции всех представлений об обществе как таковом.

Искомая антропософская община не имеет, да и не может в данных условиях иметь формы выявления на физическом плане; и все усилия ее сделать — перенесение против *"рожна"*; только во внутренней школе, в пути посвящения в жизнь, создаются условия для искомой социальности; но такая *"школа"* не может ни в одном пункте пересекаться с *"А. о."*; факт внутренней школы внутри скобок общества, *всякого*, а не только *"А. о."*; в корне деформирует все виды таких *"школ"*; внутренняя школа — одна; ее члены — имеющие *"посвящение"* в ритм Духа Жизни, а он *"дышит, где хочет"*; т. е. он не может иметь частных дверей; всякое общество есть общее частного, или оно — *"целое"*, постулируемое частью; оно не тотально, а парциально; прикреплять *"окультурную школу"* к *"А. о."* все равно что прикреплять самосознающее *"я"* к мозговой клетке; такое прикрепление мгновенно материализует *"камень души"* в *"камень"* просто, подаваемый вместо хлеба жизни; Рудольф Штейнер неспроста отрицает *"школы"* от традиции, как бы они ни называли себя: орденами, братствами; в таковом смысле они *"тайные общества"*, т. е. только *"общества"*, взятые в фазе их исторического, склероза.

Новая культура несовместима с традицией *"орденства"*; и антропософы сознают это (хотя бы на кончике языка); как же они не осознали, что *"община"* общества или даже *"школа"* внутри общества (такого, а не иного) есть *нонсенс*; неспроста Штейнер в 1914 году некогда бывшие организации подобного рода пресек; они-то порождали худший вид общества в плохом самом по себе обществе, ибо общество, как таковое, всегда — *плохое общество*: так называемая *"эсотерическая общественность"*, накопившая запас миазмов от 1904 года до 1915 года внутри коллектива, сгруппированного вокруг Штейнера, была им разоблачена в 1915 году, в Дорнахе. Надо было лишь сделать вывод: данные разоблачения имеют место не только относительно искажения основ поданного *"эсотеризма"* и *"братства"* в данном случае, а во всяком случае, когда внутри общества слагаются ритмы *"общины"* и общество, внутри которого растет ритм, этот ритм монополизирует себе, вместо того чтобы отдать его миру, а себя увидеть умирающим в земле зерном, восстающим под небо — сперва колосом, потом кучкой колосьев, потом бескрайнюю нивую; неужели для ветром зыблемой нивы нужен штамп, что эта нива произошла от зерна, лежавшего в амбаре Сидора Карпова.

После смерти Рудольфа Штейнера *"А. о."*, собравшее тысячи членов разнонаправленных бытов, классов, культур, *"обществ"*, не может не стать на распутье: один путь — общество обобществляет антропософию; это значит: создается пустой синтез, ведущий к абстрактной догме; и — к традиции догмы; другой путь — разбитие каркаса *"единства"*, разрыв *"А. о."* в энном роде *"обществ"*, с одной стороны, высасывающих из целого антропософии для себя элементы ее и, с другой стороны, всасываемых; в антропософии чуждые культуры; антропософия в *"антропософиях"* католицизируется, протестантизируется, снобизируется; она может стать чем угодно: и новой мелопластической школой с учреждениями, здесь растущими и антропофирующими, например, столь неатрофируемую теорию знания; она может стать *"Обществом новых идей в химии"* и т. д. В тех и других ориентациях на периферию (культурного доминиона) ее центр обречен стать пустою схоластикой, гетерогенно привлекаемой к доминиону, им влачимой, как атавистический хвостик; судьба такого хвостика — утратиться.

Антропософия в "антропософиях"— "христианство" в друг друга грызущих сектах.

Такова она в судьбе "общества", и только "общества", если живые индивидуумы, проводящие импульс новой культуры, вовремя не захотят увидеть, какой яд они приняли под формой "общества", которое в условиях мировой государственности — переполненный лептонами труп; я говорю об "обществе", как таковом: всяком; "эсotericкая общественность" общества антропософов — не противоядие, а — иная форма разложения; и, по-моему, — наиболее тяжелая.

Лучшая форма смерти "А. о." — открытая, честная борьба за понимание антропософского импульса без утопий о каком-то возможном примирении всей противоречивости устремлений ее живых членов; ведь осуществление этих *утопий* возможно в одной только форме: в форме епископского жезла, ведущего к епископату, вынужденного из себя поздней выдавить *палу*; цезаро-папизм есть тип государственности; другой тип — государственный социализм; третьего типа государства — нет: буржуазное государство есть лишь фаза, ведущая к перерождению либо в католицизм, либо в социализм.

В будущей схватке государств расплывется самый импульс антропософии, понятый как "общественность".

Чего не хватает живым членам "А. о." для осознания этой простой истины.

Не хватает подлинного живого понимания конкретного монизма, как плюро-дуо-монизма, ведущего к исканию даже не сюнархии, а к изучению ритмов социальной сюн-ритмии или сюн-эргии (от слова "эргон", или "дело"); но сюн-эргия и есть "сюм-болия", или тот символизм, над которым работала моя мысль; не стою за слово в принципе тройственности (Символ — символизм — символизация), стою за "дух" новой культуры, не связанный с ним; пусть сам Штейнер понимал символ как "только аллегорию"; такое понимание — случайность терминологического оформления; но для меня ясно, что при таком оформлении мы будем искать другого слова к соединению в целое; и придем к синтезу; а судьба гносеологического разбора слова — в его раскрытии как только рассудочного единства. Мой знак "символ" есть лишь знак-предохранитель; и значит он: "не идите путем исхоженным, путем синтезов, ведущих лишь к общим понятиям и общим обществам; эти понятия и эти общества всем моим опытом жизни в коллективах, построенных на синтезах общего, лишь углубило во мне то, из чего я исходил: синтез — в символе; синтетизм — в символизме.

Я — символист: даже в антропософии.

Я не могу присоединиться к антропософскому синтетизму, реализму, идеализму или какому иному антропософскому мировоззрению; я верен XXXIII курсу лекций Рудольфа Штейнера, который — не курс, а ракурс целого курсов, лекций и пленума книг; как таковой, он — намек, знак, символ, как *по-новому* прочитываема антропософия, чтобы она была легконога и чтобы стало ясным, что и она — *транспарант* к тому, что за ней.

Транспарантность же ее в том, что она есть чистейший символизм и что, не став символистом, нельзя не исказить ее.

13

Вернувшись в Россию в сентябре 1916 года, я ощутил огромность опыта предшествующих четырех лет и вместе с тем невозможность передать его ни в достижениях, ни в падениях, ни в трезво критическом

взгляде на взаимоотношения между антропософией, антропософами в их усилиях сочетать школу, опыт, общину и общество в некое согласное целое; согласное целое виделось *"развалом"*, но *"развал"* этот опять-таки виделся во *здравие*, а не в *упокой*.

Этого всего я не мог объяснить: естественно, что мое объяснение носило критику *"общества"*, как такового; в частности: западноевропейского общества в его конвульсиях перед войною; и в эпоху войны; конвульсии русского буржуазного общества мною были изучены прежде; и *"Петербург"* — знак этого изучения.

Разумеется, что скобки буржуазного общества, держащие наше западное общество извне и разлагающие его перегородками изнутри, стояли картиной весьма отвратительного *"дракончика"*, копошащегося в недрах большого Дракона; и только индивидуальные вспышки необыкновенной силы и яркости несколько уравнивали мою муку при сознании своей связанности с *"дракончиком"*; всходы русской антропософии были еще слишком юны, чтобы я мог морозить их рассказами о *дракончике"*; я предпочитал говорить о хорошем и молчать о дурном.

Но и такое молчание было-таки... молчанием, которого тяжесть заставляла себя мучительно чувствовать; хотя мои нервы и были забронированы жизнью на Западе, они бы не вынесли, если бы в лице К. Н. Васильевой я не нашел душу, которой бы мог сказать *"все как есть"*; и этим правдивым сказом сказаться действительно.

Своей социальной функцией того времени я считал знакомство людей с подлинной личностью и идеологией Рудольфа Штейнера, как они мне отразились в период жизни при нем; особенно много приходилось уделять времени разоблачению "легенд" о Штейнере и антропософии среда врагов последней, все деятели русской культуры, с которыми мне необходимо было и встречаться, и работать в России; в выправлении представлений и в повышении уровня и среда обставших антропософию неантропософов видел я центр своей миссии; меня встречали пристальным разглядом и высказывали удивление, что я жив и даже окреп как художник и идеолог; я эту *"моду"* на себя и старался использовать во *"славу"* антропософии; я даже немного входил в свою роль — терпимого и широко глядящего антропософа, однако, не дающего спуска где нужно; создавалось впечатление, что с *"этим антропософом"* возможно не только общение, но и культурная работа. В таком приблизительно смысле высказывались: Бердяев, Булгаков, Флоренский, кн. Трубецкой, С. М. Соловьев, Карташов, Иванов-Разумник, Блок, Мережковские и ряд других деятелей-неантропософов. Сознавалось: мой идеологический ответ Метнеру аннулирует его нападение на антропософию; и этим признавалось; надо как-то изменить стиль прений, столь недавно еще неприличный на академически-спокойное обсуждение наших согласий и несогласий.

Тактикой повышения *престижа* антропософии во внешнем мире я был занят весьма, укрепляя тональность приемлемости нас в *культуре* (одно время, с легкой руки Метнера, нас просто вышвыривали из культуры).

Эти условия мои в прохождении достойной антропософской походкою иногда вызывали нарекания на меня со стороны некоторых антропософских друзей в том, что я мало, уделяю времени внутренней работе кружков, увлекаясь своими отношениями, с внешним миром; они не учитывали, что мои усилия разбить вокруг антропософского центра цветник культуры есть своего рода тенденция к антропософскому культурному просвету, т. е. большая пропаганда, чем *пропаганда* и вызывание к жизни

условий возможности академических встреч с неантропософами, без которых самое расширение антропософии в России пойдет не в должном направлении и в смысле заострения вопросов, и в смысле отбора в антропософию талантливых, стойких, культурных и работоспособных людей; иначе грозило появление "*стада*"; и, стало быть, "*пастырей*"; и "*стадо*" и, особенно, "*пастырей*" в русском "*А. о.*" я не мыслил.

Так моя работа *на стороне* была выражением моей работы *внутри*; иные из друзей понимали меня в моей тактике; многие и тут не понимали, относя мою деятельность лишь к "*вихрю светских легкомыслии*", желанию лишней раз в прениях почесать язычком; если бы они поняли, что я в четырехлетнем безгласии моего западноевропейского "*вахтерства*" уже сдал экзамен на выдержку, им были бы видней истинные мотивы моего поведения в 1916 — 1917 годах.

Слишком мало отдаваясь работе внутри московской группы антропософов, я скоро стал к ней тянуться всею силой души; она стала родною мне; я видел внутри этой группы и жизнь, и брожение моральной фантазии, и серьезность дум, и правдивость устремлений; были и дефекты в "*общественной*" жизни, вытекающие из закона, что люди, отдельно взятые, интересней и глубже себя же, взятых в сложении "*общества*"; те же противления против 1) социального ритма, 2) проблемы гармонизации коллектива, 3) борьбы с предвзятостью, 4) непонимание многострунности и символизма, без которой ритм мистерии вырождается в *протокол* и *устав*. Но это были мне слишком ведомые и понятные явления; и тем не менее было радостно себя чувствовать в группе честных, здоровых, все же максимально непредвзятых людей, не превращенных в "*послушное стадо*" и не разложенных гангреней "*общественного эсотеризма*".

Не то впечатление осталось у меня от встречи с *петербургскою* группою; всего того, что меня роднило с Москвою, там не было; а с Москвою меня роднил "*живой*" Дорнах, в котором я мыслил себе дом; в Дорнахе же было и много мертвечины, но Москва сумела элиминировать "*мертвый*" Дорнах, связуясь с Дорнахом; Дорнах в Москве, — группа атропософов, живших в Дорнахе; в Петербурге такой группы не было; не было и по-настоящему связей с Западом (ни через *эсотику*, ни через быт жизни с Западом); и потому-то, вероятно, эту живую связь заменили культом "*Мекки*", в которую превратился Дорнах. И здесь — ставлю точку: плоды петербургской "*эсотерической общественной*" сделались не одним крахом в годах.

Мое положение в России было трудно; надо было найти, так сказать, и внешне-общественную платформу; политически жизнь России достигла крайнего напряжения; политически надо было найти себя.

Революции в России ждал и Штейнер, спросивший меня в первые дни войны, будет ли революция тотчас, я ответил, что — нет; но я знал: революция будет; более того: я ждал краха русской общественности еще с 1911 года; мое отношение к русскому буржуазному обществу было резко отрицательно с 1907 года, а моя невозможность его выносить — мой отъезд из России в 1912 году. Близость всеобщего развала отражена в моих "*Кризисах*", начатых в Дорнахе; ответ на войну — глупейшее "*нет*"; не примыкая к активному пораженчеству действительно (я не мог в действии соединиться с "*партиями*"), я сочувствовал ряду лозунгов Циммервальда-Кинталя; к социал-демократии в лице ее вождей относился я сдержанно; иные из этих вождей стояли передо мной (например, Жюль Дэстрэ, с которым был лично знаком); с ведомо Штейнера я писал в русской газете, стараясь провести в статьях хоть

процент антимилитаризма; после перепечатки одного из моих фельетонов с сочувственными комментариями во "*Франкфурт-Цейтунг*" и этот процент делался нецензурным; уезжая из Дорнаха, я высказал Штейнеру надежду на возможность мне в России вести линию антимилитаризма. "Вам это не удастся", — сказал он с грустной улыбкой; но если бы я мог вести эту линию, было бы хорошо ее вести; так он полагал; не насилуя нас, лишь предостерегая против партийности, сам он отзывался с сочувствием на антимилитаризм; он ценил брошюру Суханова против войны.

Оставшись чужд партийной политике в России, я тем не менее во всех устремлениях своих был с тогдашними крайними левыми; не одни литературные вкусы и личная дружба соединили меня с Ивановым-Разумником; темы народа, войны и революции были темами нашего сближения; но в "*кадетской*" культуре Москвы сидел я с зажатым ртом; лишь среди своих антропософов да среди "*скифов*" — петербуржцев, я высказывался откровенно.

С 1906 года мне принадлежит ряд рецензий в "*Весак*" (псевдонимы "*Альфа*", "*Бета*", "*Гамма*", "*Дельта*") с определенным "да" пролетариату и социальной революции; она после ошибок Временного правительства виделась мне роковой неизбежностью с июня 1917 года уже; в этом ожидании взрыва я сходил с Т. Г. Трапезниковым, Петровским (антропософами), М. О. Гершензоном и Ивановым-Разумником; но моя концепция не двух, а трех *революций* (политической, социальной, духовной) ставила меня вне государственного коммунизма и государственной демократии, ставшей вскоре во враждебном к коммунизму лагере; я был за принцип *Советов*, как за рычаг переворота, еще с 1905 года; и в 1917 году я надеялся, что в этом принципе найдет себе развитие и духовный переворот.

Таково было мое настроение и в 1917 — 1918 годах: свободное развитие снизу вверх социально-индивидуальных коммун, отрицание политического ига; на этой платформе я сходил с иными свободными людьми того времени; среда них были и коммунисты.

Происходил небывалый опыт; от нас требовались независимость и духовный ритм текущего понимания трехчленности, связавшейся мне с триадою: Символ — символизм — символизация; сферой "*символа*" мне слышался нас ведущий в грозе и *буре* ритм времени, вызывающий к слуху и к упражнению в слухе; отражением этого слуха мне были и "*Скифы*" Блока, и военный приказ к армии: отступать. Не законодательства я искал, а ритма к чтению законодательств; сферу символизма как теории я видел в лозунгах момента, поднимающихся снизу; декрет как *власть* лозунга виделся мне лишь гребнем пены вставшей волны; и этот лозунг — "*Вся власть Советам*"; советы же — ассоциация лабораторий всяческих опытов строительства жизни (и социальных, и духовных, и социально-духовных); *диктатуру* я принимал лишь в необходимости защищать советизм от ударов извне, а не в необходимости направлять самое содержание советской жизни, сфера которой — многообразие *символизации*; *власть* видел я лишь в *моменте* советской индукции (снизу вверх); и жаждал раскрытия принципа текучементальной власти, верней, *властей*, поднимаемых и утепляемых, как гребни волн, в недрах стихии живовластных *Советов*.

Таковы были мои переживания революции.

Когда же мне стало ясным, что средняя часть триады (совет — власть — ритм), или власть-лозунг, перерождается в обычную власть и в этом перерождении становится из власти *Советов* советскою *властью*, стало быть, властью обыною, ибо суть государственной власти не

в прилагательных ("*советская*", "*не советская*"), а в существительном, старом, как мир, я был выброшен из политики туда, где и пребывал вечно: в антигосударственность; а *третий фронт*, меня и извне прикрепил к месту моего уединения; и нынче я, толстовец-непротивленец, могу лишь высказывать пожелания, чтобы "*советизм*" был гибче понят в органах власти.

14

С 17 до 21 года перед русскими антропософами стояли задачи, не снисвшиеся антропософам Запада: вопросы о связи культуры России в ее становлении с культурой антропософии в ее становлении. Никаких *ставших* форм, лишь одно *становление* было нам непосредственно дано; и поставлена задача: становление не утопить в хаосе; но и в боязни хаоса не замкнуться в разлитый догмы; такую раковину ведь была для нас, русских, жизнь западного общества даже в ее удачных моментах; и они, так сказать, протекали если не в *раковине* общества, то в *раковине* общеевропейской буржуазной власти; мы же были без раковины: без уже прошлого, но и без ясно видимого будущего, в стихии настоящего, кидающего и туда и сюда и взывающего к мгновенной, всегда индивидуальной ориентации, для которой не могли, существовать директивы, лозунги с Запада, ни директивы и лозунги, кроимые нами по западному образцу, ибо западный образец всегда поднимался с трамплина традиций и прочного быта, хотя бы в моменте их преодоления; а наша действительность с расплавом здесь и развалом его там не могла найти никаких трамплинов в смысле преодоления антропософской косности; трамплин был один: наша косность, косность всех нас как антропософов; и, стало быть: косность антропософии в условиях общества; невидимый Западу склероз "А. о." (невидимый оттого, что подан в другом склерозе) стал видим нам; западная антропософия противопоставляет себя традиции Запада; русской антропософии эпохи 1918—1921 годов нечему было себя противопоставлять, ибо она строила себя в условиях расплава и развала извне; поэтому она произвольно могла всасывать в себя окружающее; у ней не было никакого трения с гетерогенным принципом формы, ибо форм жизни в России не было в описываемых годах; были, так сказать, "*минус формы*", или — отрицательные понятия: не еда, не тепло, не быт, не традиция, не здоровье, не предвзятость; и этому "*не*" противопологалось огромное "*да*" материала курсов книг Штейнера, данных в западной *форме*; стало быть: переплав этой *формы* в условия русской безбытицы и был лозунгом дней в быте русских антропософов, не желавших отмежеваться от событий жизни в России.

Я бы сказал, что жуть этих задач, жуть ответственности, не могла не кружить головы; и антропософы с закружившейся головой убоялись своей деятельности как антропософов, вынужденных действовать в России; убоялись сказать "*нет*" антропософской *ракушке*, оказавшейся в поле их зрения после вынуждения ее из разваленных жизнью буржуазных форм; этой ракушкой-склерозом, не видимым на Западе, но видимым в России, оказалось само "*антропософское общество*" в его и государственной, и эсotericической структуре; в расплетении "*эсотерики*" и "*общественной формы*" первая превращалась в сознаний в социальный ритм, а вторая в (своем разложении выделяла здоровый озон жизни из прочих гниений всяческой государственности; и этот озон — стремление коллектива понять себя в текучей ассоциации, в вольной ассоциации, символ которой *община*, а не *общество*.

Этого слова-лозунга испугались одни; за него ухватились другие; так выделялись стремления так называемой *"ломоносовской"* группы из *"соловьевской"* в Москве; и я должен сказать, что, и как антропософ, и как член совета и председатель *"Вольно-философской ассоциации"*, всемерно стоял и участвовал в продумывании стиля работ ломоносовской группы как стиля работ общины, ассоциации, *совета* без членов и руководителей; в понятии ассоциации уже утоплена диада (пассивные члены, активные руководители) в триаде (совет как руководители-члены, совет как целое, движимое ритмом: "Где двое и трое во Имя Мое, там Я посреди вас").

В основу ломоносовской группы были положены лозунги: искать загаданной антропософии из контакта и контрапункта *"как достигнуто"* и *"философии свободы"*; искать не в схеме, а в живом опыте непредвзятой индукции (в схеме головной из двух ядов получается только ядовитая смесь, а в действительности контакта — полезная соль); в непредвзятом ожидании живых опытных результатов этого соединения *"экс" и "эсо"* вариаций антропософии я именно чалил от антропософского *"синтетизма"* западноевропейского перерождения антропософии к соединению, к антропософскому *символизму*; во-вторых, был положен лозунг общинной ассоциации вместо механического со-сидения членов в со-членстве, где *"со"* есть не организация живой связи, а порядок нумерации кресел ряда, в котором со-сидят члены (лучше сказать: части их тел, противопоставленные голове); и отсюда уже для меня вытекал лозунг ритмизации многообразия мировоззрительных оттенков, допустимых равно в антропософии; в принципе же общественности фактически эти оттенки все равно возникают, как оттенки *"лож"* (берлинской, мюнхенской, штутгартской и т. д.); но там они зависят от *"гувернеров"* и *"гувернанток"*, без которых жизнь западного общества до сих пор не умела протекать; мне же виделась в свободной ассоциации тема многообразия *"гувернеров"*, взятая критически, ибо это многообразие — ассоциация в нас свободных усилий: сложиться в цельность. Далее поднималось задание: сообразно видоизменению принципа *"общества"* в ритм со-общений изменить и систему строения антропософских кружков в широко и глубоко задуманную *"культуру"* кружков, в *sui generis*, "духовную академию" свободного типа, разбитого вокруг антропософии; надо мною смеялись, что я задумываю свой *"культпросвет"* там, где уже дан *"свет"* учения Рудольфа Штейнера; так дешево шутил антропософ, не зная, что к этому *"культпросвету"* взывал Рудольф Штейнер еще с 1915 года в Дорнахе, видя, что *"свет"* его учения без *"культуры"* стал из света сперва узким *"просветом"*, а потом и *"непросветом"* в удушениях средневековой мистики антропософских суеверий, с которыми мы так боролись в Дорнахе и от которых ни *"эсотерическая общественность"*, ни *"руководители"* не могли избавиться; избавило — закрытие *"эсотерической линии"* на ряд лет Рудольфом Штейнером. Наконец, мой *"культпросвет"* таки вырвался в жизнь в антропософии Запада в многообразии своих форм: от ученых институтов до движения молодежи, скорее слагающейся в ассоциации, а не в общество; наконец, ассоциация пастырей христианской общины — что же это, как не вырыв из общества; я считаю, что тенденции *"ломоносовской"* группы на несколько лет упредили ряд тенденций, вызревших в тяжелом развале общества Запада, как размышления о том, что же с этим *"опухшим трупом"* делать. Наконец: я считаю важной тенденцией нашей тогдашней группы подчеркивание тем самосознания, критицизма, свободы, моральной фантазии и культуры искусств — тем, с недостаточной силой подчеркнутых в пленуме

членом "Общества"; в переложении всей ответственности за судьбы антропософии с руководителей, организаций, органов в "я" членов ассоциации выдвинутые темы получают особую значимость. Мне мечталась такая сознательность в членах группы, при которой уже невозможно сидеть и ждать от руководителей, гарантов, верховных органов директив направляющего решения; единственное направляющее решения — моя индивидуальная совесть, ибо за ошибки Дорнаха, Штутгарта, Москвы, Петербурга ответствен "я", вовремя не поднявший меч на ошибку.

Так одно время виделся мне в нашей группе возможный орган переориентировки быта антропософии в условиях, подаваемых русской действительностью 1918—1921 годов; и в переориентировке мне виделись условия возможности нового стиля культурной работы в России для подлинного антропософа; задание его — найти себе подлинное активное место в своей стране; я должен сказать, что с этим заданием русские антропософы справлялись и продолжают справляться; укажу лишь на культурную роль покойного председателя нашей группы Т. Г. Трапезникова, проводившего эту работу в общерусском масштабе, — хотя бы в роли одного из руководителей отдела "Охраны памятников".

Но западные "друзья", привыкшие видеть в культурнейших русских "докторах" только "вахтеров", и тут комически постарались понять работу покойного Трапезникова; передавали серьезно, что в годы голода он служил в сторожах и охранял памятники.

И это не каламбур, а — факт!

Я не стану перечислять своей многообразной работы в РОССИИ в эту эпоху

("Пролеткульт", "ТЕО" Наркомпроса и т. д.); она строилась в согласии с антропософской совестью; и выявлялась не в пропаганде, догме, а в истинно свободном творчестве; когда вставали препоны ему, я работу бросал.

Ленинградская "Вольно-философская ассоциация" стала одно время и моим личным, и моим индивидуальным (т. е. индивидуально-социальным) делом; я связался и с ее деятелями, и с ее лозунгами, и с ее ширящейся, но организуемой многообразно аудиторией, и с темпом ее работ. В расширении своих "антропософских" представлений я встречал и препоны, и злой подозревающий глаз со стороны иных антропософов; наоборот: иные из неантропософов тут мне оказывали незабываемую, горячую братскую поддержку; не забуду и истинно *нехорошего* ко мне отношения антропософки Волошиной (1921—1923 годы), унижавшейся до распространения обо мне небылиц; не забуду и братского отношения ко мне ставшего мне родным Иванова-Разумника.

В. ф. а. ("Вольно-философская ассоциация") в 1920—1921 годах развертывалась в Петербурге в большое культурное дело, могущее вырасти в ассоциацию "*Вольфил*" по всей России; и не ее вина, если механические препоны положили предел ей Ленинградом; в Ленинграде темп ее работ был стремителен, продуктивен, многообразен; 300 публичных собраний за три года жизни — одна эта цифра указывает на размах "*В. ф. а.*"; не упоминаю ее кружков, ее курсов, ее интимных собраний и т. д. В 1922 году она вынужденно сжималась, а в 1924 — вынужденно перестала быть.

В 20 и 21-м годах мне пришлось "5" месяцев, потом "6" месяцев работать в центре "*В. ф. а.*" как председателю и члену совета; организационные задания всецело поглощали меня; и особенно радовало, что "*В. ф. а.*" — не общество, а — ассоциация людей, связанных в исканиях новой культуры (мысли, общественности, искусства); думаю: если бы западное "*А. о.*" приняло дух ассоциации, разбив каркас "*общества*" и проведя грань между исканием братства и формами государственности, многих бы безобразий в смешении линий "*экзо*" и "*эсо*" — не

было б вовсе; и лучше бы поняли идею социальной трехчленности Штейнера, утопленную его учениками; эта-то трехчленность, как ритм устремления, и лежала в основе "В. ф. а."; и закладывалась независимо от идей Штейнера нам, членам совета "В. ф. а.", неизвестным в 1919—1920 годах; здесь воля, мысль и социальное чувство искали по-новому связаться с понятиями "свобода", "философия", "ассоциация людей"; и самое название "Вольно-философская ассоциация" отражало трехчленность; мне же она отражала еще и мою трехчленность, где сфера *символизации* виделась в свободном многообразии обрастающих "В. ф. а." отделов, под-отделов, кружков и в свободном многообразии братски борющихся мировоззрений, ищущих свободно сложиться в культуру их круга; здесь сферой *символизма* являлось мне самое заострение проблемы культуры как *принципа* и культур, в ней лежащих, как модификаций (символизации); сферой же искомого *символа* мне было самое прочтение принципа культуры как ритма и ритма как выявления человеческого Духа из свободы ("*Дух дышит, где хочет*"). Интимная жизнь деятелей "В. ф. а." в их работе мне вспоминается в лабораторном вынашивании идей-лозунгов, учуянных снизу, в потребностях к нам притекавших масс, которые мы старались понять и приподнять в оформлении дня и минуты как в лозунге, но лозунге — симптома ритма (Символа); в этом смысле мы, члены совета "В. ф. а.", не имеющей членов, но массу и "совет", и были *властью*, но властью *Советов* или органов, кружков, устремлений, обраставших "Вольфилу"; поэтому "власть совета" здесь всегда была лишь властью минуты, властью оформленной индукции, снизу питавшей нас; эта *власть* носила чисто символический, ритмизационный характер; она была *властью* постольку, поскольку она угадывала пульсацию вольфильского сердца; поскольку же не угадывала, она мгновенно свергалась, ибо "совет" постоянно поднимал вопросы о свержении себя; и в поднятии этого вопроса постоянно получал мандат к власти: выдвигать лозунги; единственная организация, состоявшая из массы и советской четверки, бессменной по власти "Советов" массы с председателем, мной, являющимся лишь эмблемой *совета*; и потому — бессменным (опять-таки — не по своей воле).

Новизна ритма работы увлекала меня; и, разумеется, — душой, подлинным уловителем ритма жизни "В. ф. а." был, во-первых, Р. В. Иванов; во-вторых, члены совета; в-третьих, молодежь отделов и подотделов; и, наконец, вся масса публичной аудитории, т.е. *тысячи*.

Разумеется, *В. ф. а.* была не на уровне своей великой идеи: быть тотумом, ассоциацией, а не партией, обществом; но "В. ф. а." сознавала это, не выдувая из соломинонок мыльных пузырей несуществующей эсотерики, интимности, братства; в этой суровой и честной правде складывалась своя интимность: интимность ничем не прикрытого стремления — к правде, какую бы она ни оказалась без фиговых листиков и виньеток, заглавий правды.

Не могло подняться вопроса о том, что "В. ф. а." о правде, а не правда о "В. ф. а.". Между тем в западном "А. о." постоянно надо подымать предостерегающие напоминания, что сама "*антропософия*" гласит о правде, а не "*правда*" гласит об антропософии, понимаемой обществом, т.е. "*советом*" этого О-ва; без таких оговорок могут случаться казусы: правда мира зависит от состояния мозговых клеточек очередного председателя, д-ра Унгера, Юли, Стеффена, мадам Штейнер или — кого еще?

До отъезда за границу в 21-м году я работал в "В. ф. а."; и в этой работе забывал ужасные тучи сомнений, нависавшие надо мною и над моей личной жизнью.

Может быть... здесь мне и ставить точку, потому что нет еще слов к оформлению последнего семилетия?

Постараюсь все же дать не формулу, а лишь импрессию этого периода моих устремлений.

В 21 году я ехал в Дорнах; я нес серию неразрешенных в 1916 году вопросов об "А. о.", его людях, его быте, о себе в нем и, во-вторых, 1) серию вопросов об антропософии в России, как поданных действительной жизнью, 2) о себе в этой жизни, 3) и о ряде людей, кружков, организаций, облакавших меня доверием как русского писателя и общественного деятеля; хотя бы антропософу и председателю "В. ф. а." есть о чем поделиться с советом "А. о.", и как с деятелями "А. о."; о своих личных, слишком личных вопросах, как они ни казались важными (хотя бы вопрос о медитациях, моем "опыте" и т. д.), я думал не слишком пристально, ибо жить личной жизнью в России я отвыкал; наша личная жизнь чаще всего определялась термином *не*: *не* ели, *не* спали, *не* имели тепла, денег, удовольствий, помещений, здоровья и т. д.; но это *не было* предметом слезливых жалоб, потому что громадное "да" осмысленно-духовной жизни с радостью преодолевало все эти "не". Не с "не", а с "да" (и большим) появился на Западе я; наконец я знал: в разрезе личной жизни на Западе мне предстоит хирургическая операция, к которой с 19 года я был вполне готов; не она *главным образом* волновала; волновала всяческая "социальность"; с невероятным усилием два с половиной года я добивался условий отъезда для разрешения своих "социальных" тем вопреки личной грусти: оставить друзей, близких, мать, любимую работу в "В. ф. а." в Ленинграде и в "Ломоносовской группе" в Москве.

Что я встретил.

Здесь... пауза.

Мороз продирает по коже при воспоминании битком набитого зала в 3000 человек, куда я попал в первый день приезда в Берлин и где встретился с "близкими" некогда мне, и с рядом старых знакомств, и с "дорнахцами", и со Штейнером. Все "социальное", копимое 5-летием, тогда именно рухнуло; началось — "это".

"Это" — ужасающая импрессия; пахнет — странно; сладковато, приторно, ни явно дурно, ни явно хорошо; что это — вонь или парфюмерия? Так спрашивал я себя 21 год назад в бытность студентом-распорядителем концерта, нюхая свои надушенные белые перчатки и вдруг поняв: пахнет трупом (я в этот день работал в анатомическом театре: духи и мыло не вытравили запаха мертвецкой); тогда же, 21 год назад, я понял, что запах чистого трупа куда приятнее запаха надушенного трупа. Волна непреодолимого отвращения поднялась во мне, и я как бы лишился сознания... на два года, инстинктивно протянувшись к спасительному нашатырному спирту, но ошибочно схватив... *винный спирт*.

Тот факт, что многие западные друзья по стародавней привычке встретили во мне "нашего вахтера", наивного "сверх-глупца", лысого "бэби", — не тот факт меня сразил; и не то, что я был в иные дни облеплен бесплатными руководителями, обрадовавшимися случаю, как и 9 лет назад, мне сообщить, что человек состоит из 7 принципов (идя в старую муравьиную кучу; жди старых муравьиных замашек); не удивительная мелкость социальных интересов после России расшибла (в России мы решали вопрос о том, что есть "общество" как таковое самую жизнь, являющуюся катастрофой всех обществ, а тут волновались: какой-то "насторин" написал какую-то "статеечку" против Штейнера;

и ею потрясались, как... мировым переворотом; не чванство расшибло ("У нас такие-то ораторы", "Я" и сам *рэднер*, только что работавший в группе *рэднеров*"); не милые сплетни иных из "*милых*" друзей о том, что я стал большевиком и вступил в сделку с совестью (и это за пятилетнюю работу во "*славу антропософии*" в условиях, от которых лопнула бы не одна "*антропософская знаменитость*" Запада), и не чудовищная душевная черствость некогда близкой души, оправдываемая разве что каталепсией сознания, и не неумение иных *русских* не только антропософски ворочить мозгами, а просто передать лекции Штейнера, мной не слышанные, и не многие другие подобные "*прелести*", мгновенно меня обступившие, меня доконали; между прочим — я мог думать, что мне нарочно устраивали засаду из гадостей вплоть до... невозможности после пяти лет получить свидание с Штейнером, к которому я 2 1/2 года вырывался.

Расплющило "*это*": импрессия припаха (вероятно, под фасадом пышных учреждений и прочих культур в пятилетии моего отсутствия развивались мощные гнилости); дорогие русские друзья, не требуйте от меня рационального объяснения в том, что — не каприз (от капризов в обморок не падают); вспомните только мою верность антропософии и Рудольфу Штейнеру; она в том, как я вел себя под флагом антропософии в 1916—21 годах; она в том, что, вернувшись в Россию в 1928 году, я молчал как могила; и лишь через пять лет проверки себя в антропософии в эпоху 1912—16 годов; 1916—21 годов, 1921—23 годов через "*да*" антропософии Штейнеру, — утверждаю решительно: 19 ноября 1921 года со мной случился обморок от запаха, мной услышанного; длился — 2 года в Берлине; 2 года в России я медленно выздоравливал от него.

Заговорил же о нем, когда стал здоров.

Думаю: отвратительность его в том, что он — смесь: трупа и духов; то есть в нем — разложение аромата ангельской жизни в труде буржуазного Запада, если не претензия трупа: притереться ароматом ангельской жизни.

Четыре года в нем разлагался мой социальный импульс; в условиях моего состояния сознания, разумеется, падали все намерения, серии вопросов, свидания; самому Штейнеру, спросившему меня: "Ну, — как дела?", — я мог лишь ответить с гримасою сокращения лицевых мускулов под приятную улыбку: "Трудности с жилищным отделом". Этим и ограничился в 1921 году пять лет лелеемый и нужный мне. всячески разговор.

Думаю: "*запах*" — та же "*эсotericская общественность*".

Далее — мое письмо к мадам Штейнер, пытающееся прилично оформить необходимость мне в этот период стоять вдали от деятелей "*А. о.*" (*пока!*); но мадам Штейнер, русская немка, в тридцатилетии своего отрыва от русского языка этот язык, вероятно, забыла, потому что она прочла мое письмо как уход от антропософии и Рудольфа Штейнера; к вороху гадостей присоединяя новую для меня и весьма обидную гадость; что я Штейнеру верен, гарантия — моя пятилетняя русская жизнь; в ней я привык быть "*верным*" в деле, а не в доставании себе удостоверительных писем; неужели мадам Штейнер полагала, что я буду бегать за ней вприпрыжку с удостоверительными, меня унижающими карточками: хамом, лакеем, вставшей на задние лапки собачкою, ждущей награды, — я не был; и не собирался сделаться. Такое моего письма — пощечина мне.

Что я никуда не ушел и уходить не собирался, я доказал своим пребыванием в членах, своей отдачей книг в антропософское издательст-

во по просьбе председателя, Юли, и даже своей статьей в *"Ди драй"*. А бегать за мадам Штейнер с унижительными уверениями в *"верности"* и *"преданности"* я не мог; да и не был я в состоянии заниматься такими делами: я был болен.

Тогда новая клевета возводится на меня: я-де написал пасквиль на Рудольфа Штейнера *"Доктор Доннер"* (тема романа, изображающего католического иезуита, направленная против традиции церковности); клевете верят!

Как эти люди не понимали, что системой клеветы и требованием стать на задние лапки меня, пришедшего к антропософии из бунта, меня, из порыва любви готового в иные минуты преклониться и перед *"личностью"* Штейнера, — призыв *"стать на колени"* мог только побудить к восклицанию: — "Послушайте, а где — хлыст?"

И непроизвольный хлыст моей болезни — вино и фокстрот, — думается мне, были реакцией не на личные *"трагедии"*, а на *"запах"*, имеющий претензию поставить... на колени... меня!

Сперва вызвать обморок, а потом воспользоваться обморочным состоянием человека для сплетения о нем всяких легенд — это уже вонь без аромата или *"эсotericская общественность"* в стадии *"инквизиции"*.

Внешне прибавлю, что в период моего берлинского обморока я еще должен был 1) зарабатывать хлеб, 2) вести журнал, 3) написать три тома *"Начала века"*, 4) организовывать отделение *"В. ф. а."*, 5) организовывать *"Дом искусства"*. Все это проделывал я в сплошном бреде; все это способствовало не выздоровлению, но — углублению болезни.

Болезнь же — от любви, униженной и растоптанной звериной мордю *"Общества"*.

Ни одного ласкового антропософского слова за это время; ни одного просто человеческого порыва со стороны "членов общества"; два года жизни в пустыне, переполненной эмигрантами и вообще довольными лицами антропософских врагов, видящих мое страдание и потирающих руки от радости, что западные антропософы в отношении к "Андрею Белому" поступили... свински; все же это видели без моих жалоб (я не жаловался, а — плясал фокстрот); этого не видели лишь западные друзья; они видели: вернулся *"вахтер"* Бугаев; и — скрылся куда-то.

Если бы не дружеская, ласковая антропософская поддержка из Москвы в лице К. Н. Васильевой, приехавшей в Берлин в 1923 году и разделившей мои истинные думы, мне не вернуться бы... даже к антропософии: антропософия без антропософов... слишком для меня... Прекрасная Дамы; увидев Антропософию в человеческом сердечном порыве, я сказал себе: Антропософия... все же... есть, .

Я не доехал до... Дорнаха, куда выехал к... Антропософии; Антропософия настигла меня все еще в Берлине, но... из... Москвы.

Перед этим — пожар *"Геттанума"*, которым и я строил с символическим жестом: отдачи жизни! "Воспринял пожар и трагически, и... симптоматически: не только трагически.

Вторую поддержкой, дающей надежду в то время, что я смогу стряхнуть свой паралич, был удар грома по труп общества, иди слова Штейнера в 23 году о том, что аппарат этого общества — труп; тогда я, сорвавшись с одра, заткнувши рот, чтобы не услышать *"вони"*, бросаюсь в Штутгарт, наперерез тому, что меня механически отделило от Штейнера, и имею свидание-прощание с ним, много мне разрешившее в будущих годах моей кучинской жизни; в нем — заря нового расцвета Антропософии в моей душе, но уже... без... морды *"Общества"*, с которым все счеты кончены.

Не я их кончал.

Кончила их героическая кончина Рудольфа Штейнера (в день нашего прощания с ним, 30 марта); 30 марта 1923 года я поклонился человеку, давшему мне столько, и зная, что еду в Россию и его не увижу — долго; 30 марта 1925 года его не стало; мое *"долго"* стало дольше, чем я думал.

Смерть — здесь; победа — там. Но не *"Обществу"* гордиться победою; ему лучше следует вникнуть в причину смерти; ведь эта смерть совпадает с жертвенным вступлением Рудольфа Штейнера... в недра общества: Рудольф Штейнер вступал в *"Общество"*, как в свой физический гроб.

16

До чего символична жизнь!

В 1915 году в Дорнахе я видел во сне пожар *"Гетеанума"*; самое неприятное в этом сне: пожар был — *не без меня*; несколько позднее передавалось в обществе, будто доктор сказал, что *"Гетеанум"*, постояв лет 70, сгорит; не знаю, насколько *"рассказы"* соответствовали действительности; в 1922 году (весной, летом, осенью), размышляя об ужасе, стрясшимся надо мною, ловил я на мысли себя: *"Гетеанум"*, ставший кумиром, раздавил души многих строителей; угрожающе срывалось с души: "Не сотвори себе кумира". И опять проносился в душе пожар *"Гетеанума"*; и душа как бы говорила: "Если б этой жертвою вернулся к нам Дух жизни, то..." Далее я не мыслил. А 31 декабря 1922 года он загорелся; и горел 1 января 1923 года. *Таки сгорел!*

В минуты пожара я был в Сарове (под Берлином) у Горького; мы сидели в бумажных колпаках (немецкий обычай) и благодушно беседовали; комната была увешана цветною бумагой; вдруг — все вспыхнуло: огонь объял комнату; бумага, сгорев, не подожгла ничего; странно-веселый вспых соответствовал какому-то душевному вспыху; мелькнуло какое-то будущее (в то время *"Гетеанум"* пылал); я вернулся 3 января в Берлин; и там узнал о пожаре.

С *"Гетеанумом"* сгорел принцип *"эсотерической общественности"*, общество было трупом; мне было ясно: Штейнер — нужен; антропософия — нужна; *"Общество"* — нет.

И как знак этой "моей мысли мне было узвание о закрытии властью *"Русского Антропософского о-ва"*; стало и грустно, и... радостно; в России *"А. о."* не должно быть; судьбы антропософии здесь — иные; антропософия должна оросить людей, как влага сухую почву; и не остаться на поверхности, как *"Общество"*, или кличка, или даже, может быть, слово; питающая землю влага не видна на поверхности земли: она — сама сырая земля; земля, орошенная, произрастает: зеленью и цветами.

Антропософия в России, или новая культура жизни (тогда зачем бляха с аляповатым штампом *"антропософ"*), или — ничто. Хорошо, что нет в России ни членов, ни *"Общества"*.

Немного осталось сказать: отмечу несколько фактов.

Уезжая из России в 1921 году (в октябре), я стал предметом *"фетириваний"*, меня озадачивших; для *"фетирирования"* не было никаких предлогов: ни юбилея, ни — какого-либо поступка моего; поскольку в проводах меня выражалась сердечность и доброе отношение ко мне, я был глубоко тронут; меня провожали речами на публичном собрании *"В. ф. а."*, где дрогнуло сердце от слов какого-то мне не известного юноши (*"вольфильца"*): "Белый, когда вам станет страшно на Западе, вспомните, что мы, в России, всегда с вами, вас любим; и вам станет легче". Слова юноши оказались пророческими; через 2 месяца панический ужас

стал охватывать меня; и я вспоминал слова, что меня *дома* любят; в Берлине — никто меня не любил: ни антропософы, ни эмигранты; злословили о моих несчастьях, радовались, что западные антропософы — свиньи, а Андрей, Белый, хи-хи, — интересно! Но и этот интерес был непродолжителен; скоро я стал просто *"бывшим"*.

Меня провожал и тесный кружок *"Вольфины"*; в Москве мне устроили в *"Союзе писателей"* форменный юбилей с профессорскими речами о моих *"крупных"* заслугах; устроили собрание (интимное) от организаций, в которых я работал в Москве; хорошие, теплые слова я услышал и от пролетарских писателей.

Я и не подозревал, что в этом импровизированном юбилее были похороны, потому что в день 25-летия со дня выхода первой книги (в 27-м году) несколько друзей боялись собраться, чтобы собрание не носило оттенка общественного, ибо в месте *"общественность"* и *"Андрей Белый"* стоял только безвестный могильный крест. Я вернулся в свою *"могилу"* в 1923 году, в октябре: в *"могилу"*, в которую меня уложил Троцкий, за ним последователи Троцкого, за ними все критики и все *"истинно живые"* писатели; даже *"фетиризовавшие"* меня в 1921 году странно обходили меня, опустив глаза; *"крупные"* заслуги мои оказались настолько препятствием к общению со мною, что самое появление мое в общественных местах напоминало скандал, ибо *"трупы"* не появляются, но гниют.

Я был *"живой труп"*; *"В. ф. а"* — закрыта; *"А. о."* — закрыто; журналы — закрыты для меня; издательства закрыты для меня; был момент, когда мелькнула странная картина меня, стоящего на Арбате... с протянутой рукою: *"Подайте бывшему писателю"*.

Так — не случилось.

Весь сыр-бор оттого, что я — *"антропософ"*.

И тут вспомнилась мне другая картина — в Берлине, когда *"русский писатель, имеющий крупные заслуги, по уверению некоторых русских критиков, но приемлющий революцию"* — оглядывался с таким точно выражением, с каким оглядывался *"антропософ"* в *"С. С. С. Р."*.

Но как я молчал на Западе о специальных трудностях быть *"русским антропософом"* в России, так же молчал я теперь перед бывшими членами русского *"А. о."* о подлинных причинах моего обморока на Западе; молчал до 1928 года, до этого моего *"взгляда и нечто"*.

В этом *молчании* сказался мне исконно ведомый лейтмотив моей судьбы.

Уйдя из Москвы, я два года просидел на замоскворецком заводе, служившем мне скорее одром болезни, которую медленно я преодолевал; а с 25 года переселился в Кучино, место всяческого выздоровления: оздоровления физического, морального, душевно-духовного, оздоровления интересов и чтения; помимо других работ здесь я набросал черновой эскиз недоработанной книги *"История становления самопознающей души"* (я его доработаю, когда жизнь позволит); эта книга — студенческий семинарий над несколькими мыслями Рудольфа Штейнера, взятыми в разрезе моей мысли, куда мысли о *символизме*, конечно, вошли; здесь, в Кучине, я записывал сырье моих воспоминаний о личности покойного Рудольфа Штейнера (жизнь не позволяет их доработать); но ни в книге, ни в *"воспоминаниях"* нет следа о лично перенесенном мной в *"Обществе"*.

Лишь после слов любви к Штейнеру и глав о том, что я не переставал быть антропософом, я позволил себе закрепить и эти воспоминания, исходя из мысли, что говорить о свете там, где есть и тень, — все же: ложь; и говорить восторженно о других, постоянно преумалая себя, может быть, полезно как упражнение в смирении, но не всегда полезно для *правды*.

Почему до этих заметок я молчал о многом?

Я хотел, чтобы в годах молчания отстоялась *правда*, отделяясь как от субъективного, слишком субъективного, так и от объективного, слишком объективного; мое слишком субъективное — крик от боли: и оттого — стиснуты зубы; мое слишком объективное — впадение в трафарет антропософского благополучия в разговорах о западном обществе и об антропософах из боязни, что острая боль вырвет слишком жаркие, головокружительные слова.

Надо говорить *правду*, прослеживая ее в ее индивидуальном восстании (ни "объективно", ни "субъективно"), а это — трудно; этого не умею я еще и сейчас.

Но я учусь этому.

Еще замечания о себе, слишком себе, в эпоху моей жизни среди друзей в 1923—1925 годах.

В эти годы я отчаянно взвинчивал себя на стиль бодрости с другими, не ощущая в себе этой бодрости; я не хотел своими *"горямя"* гасить свет в других; и так уже слишком часто мы — *"гасильники"*; и наконец: чаще всего встречаешься ни с абсолютно чужими, ни с абсолютно *"своими"* (с теми и с другими легче); встречаешься со средними, держась в среднем; а это среднее — самое ужасное, произвольное *"мимикри"*; мое среднее указанных лет — ужасно форсированная бодрость от ужасной выкачанности сил; ведь антропософский зажим рта о себе — длинная вереница лет при отчаянной всяческой работе, в круг которой годы входило задание: бодрить других.

В 1923—1925 годах мне было душно не раз — именно с теми из антропософов, с которыми у меня — *"средние"* отношения; да и кроме того: иные из *"средних"* друзей оказывают мне странное, порой тяготящее меня внимание, рассматривая *"Бориса Николаевича"* как аппарат, выкидывающий слова, книги, лекции, курсы... в пустоту молчания, между тем как *"Борис Николаевич"*, идя к людям, ищет не аудитории, а сердечной, конкретной, социальной связи и, не видя в ответ на биение своего сердца никакого биения, уже механически начинает сотрясением воздуха (прямо скажу, — из *"отчаяния"*) наполнять вокруг него растущую пустоту с этим его постоянно удручающим *"ни да, ни нет"* — на мысли, чувства, волнения.

Я ушел в Кучино прочистить свою душу, заштампованную, как паспортная книжка, проездными визами всех коллективов, с которыми я работал; каждая виза — штамп той или иной горечи, того или иного непонимания.

Трудно работать из непонимания в непонимание; непонимание росло во мне: непониманием других меня; но в этом непонимании медленно вызрело мое понимание *"Общества"* как такового (всякого!); оно и есть — *"непонимание" само*; оно — до такой степени мне стало понятным в своей непонятности, что я вижу: люди, живущие, главным образом, *"общественной жизнью"*, часто самое непонимание себя и других возводят в канон этого непонимания; в них уже нет не только представлений о том, что есть подлинный социальный ритм, но и нет подозрений, что *"нечто такое"* может существовать в мире; и — потому: они проваливают всякую возможность социальной *"мистерии"*, если они волят ее; они проваливают самый социальный вопрос, строя пародию на него в *"общем обществе"*; в нем же проваливают свои мысли, чувства и импульсы. Все фальшиво, насквозь фальшиво — там, где начинает действовать принцип *"общества"*; потому что принцип *"общих"* понятий, которые *"частны"* в их методологической структуре, т. е. *партийны*; *партийный человек* есть дробь человека, иль — *антропoid*, аптекарский фабрикат из разных вытяжек человека (мозгового фосфора, семянных желез и т. д.).

Только в раскрепощающем ритме, в вольном ветре освобождения, в робком намеке — *"ассоциация"* — встает недостигнутый горизонт новой *"общинной"* жизни, которого в *"обществе"* нет и быть не может.

Слово *"община"* беру я как знак, символ, а не в его корневом и ужасном смысле (*"общ."*); *"общее"* в живой социальной организации, никому не принадлежа, — бежит, струится, сливается, и вновь разбивается, ни мгновения не оставаясь равным себе; *"общее"* моей общины — никогда не *"общее"*, но социал-индивидуально; так о нем говорят символы апостола Павла, эмблемы Штейнера, знаки высших математических дисциплин: язык математики, теории знания, искусства, символов религии, биение подлинного социального ритма никогда не говорят о таком *"общем"*, которое появляется, искажая эмблемы, как скоро начинает действовать в нас наш склероз: склероз *"общественности"* с его звездой — Государством.

Сколько раз это было сказано; но все сказанное *"обществом"* распято: во веки веков.

Даже я, относительно свободный, упал в обморок, когда увидел, до какой степени я жил в *"обществе"*.

"Храм" этого общества был сожжен в моей душе приблизительно в эпоху пожара "Гетеанума"; железобетонная мемория стоит на этом месте: *"Memento mori!"* А знак *"Гетеанума"* я приподнял над душой моей в октябре 1913 года после курса Штейнера "Пятое Евангелие", Храм души моей стоял на норвежских высотах; и увиделся ясно в местах перевала горного хребта, у ледников, откуда впоследствии взят камень для куполов сгоревшего храма; даже так взятый *камень* не смог быть куполом, потому что камень — подножие, и нельзя себя под ним хоронить; купол один — небо.

А я...

Я — пошел в Дорнах: себя завалить камнем; камень склепа, или молчание моих лет о том, что угнетало меня (1916—1921 годов), все равно стал криком, но... криком "бунта"; и... камень упал.

В 1913 году я известил письмом Штейнера о принятом решении; и о новом решении моем 1921 года Штейнер был извещен письмом; он — молчал: и в 1913 году, и в 1921 году; об *"этом"* мы не говорили; но мы оба знали об *"этом"*.

Мы говорили много: до, во время и после (уже в 1923 году); стало быть, не вопрос о камне был главный вопрос; не он соединил меня с Доктором.

Запах духов, смешанный с разложением, — ложный *"донкихотизм"*, крест и терн, но без роз и зорь Духа; я видел в других, принявших путь, ужасное перерождение в них так повеленной жертвы; жертва — была не принята; и эти другие (я — знаю их) душевно окаменели: от так понятой *их* жертвы; она была — в пустоту. Жертва была — представлением о жертве в неправильной медитации; и отсюда — рост сырого подполья: запах плесени, черви, — механизация коллектива, или — установка гигантской душечерпательной машины, проводящей душевную жизнь в *"общий"*, но от всего закупоренный бак. При этой неправильной системе себя связания с механизмом *"Общества"* менее активные, менее умные, менее горячие не только не рискуют, но даже теплеют *"чуть-чуть"* за счет жарких и умных; а те — разрываются, откуда картина бесплодных бунтов, катастроф, до... героических смертей.

Героически сгорели: София Штинде, Христиан Моргенштерн, и пусто бунтовали: Эллис, Поольман, Энглерт, Геш, Шпренгель, Минцлова, — сколько?

А *"бак"* — молчал; и сияющее благополучие осеняло средних и теплых. "О, если бы ты был холоден или горяч" (Откровение).

Мой "*запах трупа*" — узнавание всей бесплодности моих 9-летних горений в "*Обществе*"; но как, зная "*Общество*", я мог гореть? Меня подвела иезуитская фальшь: "*эсотерическая общественность*"!

Я отдал жизнь письмом 1913 года; мне подарили — "*вахтера*"; я отдал силы в работе эпохи 1916—1921 годов, мне подарили — "*большевика*" и "*предателя*" (клевета о романе "*Доктор Доннер*"); я сказал: "Возьмите всего меня"; мне ответили: "Мало, давай и жену свою". Отдал — сказали: "Иди на все четыре стороны; ты отдал все и больше не нужен нам". О моих медитативных работах раз выразился Штейнер: "*Ваши интуиции совершенно верны*" ("*интуиции*" об ангельских иерархиях, включая... Престолов); и тем не менее я со всеми этими "*интуициями*" шел в герметически закупоренный бак: они были в "*Обществе*" не реальны; реальна в "*Обществе*" была работа "*вахтера*".

И "*интуиции*" — сгорели: я никогда не вспоминал о них с 1915 года. Для кого? И для чего?

Громадный купол стоял; новый "*синтез*" готовился; и потому, что он был "*синтезом*", он не стал "*символом*". Синтез заговорил многоустыми "*Рэднерами*" в многочисленных городах Германии: и богато, и пышно!

Но — "Символы не говорят: они *молча кивают*".

Ничто не "*кинуло*" мне.

"*Кивнул*" — Рудольф Штейнер.

Но — при чем... "*Общество*"?

Говорю образами и притчами, потому что не все еще печати сняты мной с еще опечатанной мудрости; еще намек — не прогляден; и не все трупные пелены сброшены с выходящего из гроба.

17

Мне не раз говорили: "Неужели вы не могли обойтись без ужасной сцены истязания в вашем последнем романе; она — жестока".

Теперь, когда и роман позади, ответу на эти слова *правдивым ответом*, который мне до сих пор было стыдно произнести вслух; сцена истязаний профессора — лишь объективизация в образе, вставшем передо мною, того, что сидело во мне, с чем я был соединен; эти *истязания* во мне разыгрывались; мне казалось в Берлине, что меня *истязают*; с переживаниями 1922 года связывались переживания вереницы лет: от детских напраслин, через "*дурачка*", через "*безумца*" стихотворения 1904 года, через "*Затерзали пророка полей*" (из стихотворения 1907 года), через "*обвиненного*" в чем-то Метнером, через "*темную личность*" антропософских сплетен 1915 года, через "*бывшего человека*" 1921 года тянулась, усиливаясь, меня терзающая нота; и в 1922 году воскликнулось: за что терзает *меня*? Я бегал в цоссенских полях, переживая муки, которым не было ни образа, ни названия и которые тщетно силился я угасить в вине; а когда мука стала отделяться от меня, то образ меня самого встал передо мною; и на бумагу полились фразы:

"Висел затемнелой своей головою, с запеками крови...; и — мучился немо оскаленный рот. И казалось, что он перманентно: давился заглотанной тряпкою, — грязной и пыльной".

Или:

"В диком безумии взгляда — безумия не было; но была — твердость: отчета потребовать: на основании какого закона возникла такая вертушка миров, где... глаза выжигают".

Или:

"Этот взгляд одноокий... подмигивал мимоидущим: "Я знаю, — не можешь за мною идти: я иду по дороге, которой еще не ходили".

Так я себя переживал в Цоссене 1922 года, когда писал книгу стихов. И на вопрос, отчего так жестоко я обошелся с профессором, я ответил бы: "*Отчего так жестоко со мной обошлась жизнь?*"

Вскоре я стал плясать фокстрот: невропатолог мне прописал максимум движений, а учительниц... эвритмии... при не было: где они были со своей "хейль-эвритри"? Спасибо и аритмии: движения рук и ног помогли.

Невропатолог был прав.

18

Тот мировоззрительный строй, который искал я некогда уплотнить и в *систему*, не имел ничего общего с обычным пониманием *символизма* 1) у русской публики, разумеющей под символизмом ей самой неясный "*модернизм*", 2) у французских символистов, ратовавших за школочку, 3) у ряда мыслителей, подставлявших сюда лишь рационалистический синтетизм, отчего "*гегелианство*" вылуплялось опять и опять со всеми ветхими ошибками, имеющими место.

Эти свои коррективы к неправильному пониманию символизма 1) как мистики, 2) как эмпиризма, 3) как синтетизма, 4) как эмблематизма (рационализма) я всю жизнь выговаривал с достаточной внятностью, натыкавшейся на косность укоренившихся привычек понимать в мысли слова, только слова, да еще в их неправильном терминологическом взятии; даже Штейнер в полемике с рационализмом бросался фразами вроде: "Только символ, а не действительность". Помнится: раз после одной из таких фраз я вскричал на всю аудиторию, что я никогда не понимал понятия "*символа*" так и что в России всякий газетчик освоился с истиной, что символ — не аллегория; меня дергали за рукав (разумеется, — русские "*друзья*"), не понимавшие, что этим вскриком, бросаемым Штейнеру, я защищал принцип жизни своей по весьма и весьма веским мотивам; добрая немецкая дама (графиня Калькрейт), сидевшая рядом, сказала "*друзьям*": "Оставьте, это у него от погоды: упал барометр". А мадам Штейнер дней через десять сказала мне: "Вы — не поняли доктора; он говорил о другом символизме". Но *символизм* один; и о нем-то я ратовал... под Штейнером, против Штейнера, разумеется, понимая, что это ратование лишь вопрос терминологии, по-моему, неправильной; в существе дела не было расхождения между моим "*символом*" и познавательным актом теории знания Штейнера, рождающим впервые действительность; мой "*символ*" и означал: действительность еще не данную, но загаданную в реализации истинного и должного познавательного акта, а не тех схем о нем, в которых для рационализма оканчивается познание; между тем как с их конструкции оно только начинается; отсылаю к великолепным разъяснениям Штейнера в его книге: "*Основные линии теории знания Гете*". Что действительность нами творится в деятельности творческого познания, а не подается на мировом блюде, было мне прекрасно известно до книг Штейнера; в "*Эмблематике смысла*" эту действительность называю я деятельностью ("*вирклихкайт*" от "*виркен*"). "Тут возвращаемся мы к деятельности, к этому символическому единству...; самый процесс пробуждения от сна... и есть действительность; то, что творит наши сны, называем мы ценностью; но эта ценность — символ; то, что творится в снах, называем мы действительностями" ("*Эмблематика смысла*", стр. 71). Доказав сперва, что "*данная*" действительность не действительность, я перехожу к имажинативным действительностям ("*символизациям*" в терминах мо-

их), как все сном, но более близким к пробуду, чем сны "данности"; здесь — ступенчатость в лестнице совлечения с себя снов: "Каждая новая ступень есть символизация" (там же); "Если мы ниже этой ступени, она — зов... к дальнему, если мы достигли ее, она — действительность; если мы ее превзошли, она кажется мертвой природой" (там же). Так я писал в 1909 году; что переменялось во мне, когда я стал антропософом? Ничто.

Но в "Эмблематике" я взываю к высшей действительности, а не к имажинативной только; и эта "действительность" в терминах антропософии — стоящие за имажинацией инспирация и интуиция; их-то, не разглядывая по существу, в данном месте "Эмблематики" и называю я корнем построения самих действительностей (символизации); и этот корень — деятельность в разглядах "Эмблематики": "Возвращаясь к деятельности, мы узнаем ту самую действительность, от которой когда-то уплыли" (там же).

Это "когда-то уплыли" — значит: когда-то божественность нашего "Я" отделилась от божества; а потом и пала. Моя деятельность — сфера инспиративных и интуитивных миров: "Она сама — живой образ, неразложимый в терминах; но мы мыслим в терминах; и потому-то наши слова о деятельности — только символ" (там же).

И я употребляю слова "только символ" до Штейнера: в бытность свою символистом и только символистом; но выражение "только символ" вскрыто в конце *Эмблематики* перечислением градации символизмов ("символизации"), лежащих в Символе, как знаке абсолютного предела; но сфера та в терминах Штейнера вскроется в конце седьмой вселенной; мы же — в четвертой, где и Символ дан: только в символизациях.

С моей точки зрения, и до-антропософской, и антропософской, само духовное знание — "только символ", или — символизация небольшого отрезка будущего пути нас всех: от Земли к Вулкану; мой вскрик под Штейнером означал методическую поправку — к Штейнеру же; я хотел ею сказать: "Да и вы сами — только о символе в моем смысле; я же под символом никогда не разумел "общих" понятий рационализма, в их гетерогенном употреблении в качестве аллегорий". Действительность моего поправочного вскрика относилась 1) к опасностям понимания антропософии вне символизма, 2) к соседям-"друзьям", в эти годы держащим меня в покаянном настроении относительно моего якобы *былого* символизма, грехи которого мне-де надо отмаливать.

Разумеется, никто ничего не понял: ни оскорбленные "дерзостью" моего поправочного крика друзья, ни добрая графиня Калькрейт, отнесшая вскрик к барометру, ни мадам Штейнер, поднесшая мне фикцию успокоения (Штейнер-де говорил о *другом символизме*); и, разумеется, сам Штейнер не только не обиделся, но, думается, симпатично отнесся (он хорошо, меня знал в "покрике"); и он знал, что "вскрик" не имеет никакого отношения к коренному расхождению с ним.

Мой вскрик 1915 года имел другое значение: предупреждение, как бы кто-нибудь не вскричал от нажима на него рационализмом антропософии (т. е. вне символизма); и этим *кто-нибудь* оказался, опять-таки — я: в 1922 году, когда "перманентно давился заглотанной тряпкой — грязной и пыльной".

Эта грязная и пыльная тряпка — антропософский рационализм: тут уж приходится вскрикнуть: "Дайте хотя бы "только символ" вместо пылей этой тряпки!

Я, символист, и я, антропософ, — не был двумя "Я", но — "Я"; "антропософ" сделал выводы из до-антропософской позиции; повод — XXIII курс, читая который Штейнер с особой подчеркнутой значительностью глядел на меня как бы жестом своим через головы слушающих

мне именно его подавая: я так и принял его — из рук в руки: для вывода; вывод — книга *"Штейнер и Гете"*,

Все это считаю нужным сказать, — вот почему: — в проблеме жизни я изучал градацию социальных и мировоззрительных крахов; не люди проваливались (они были ценнее и лучше собственных *"мировоззрений"*, их облакавших в *рога, бычьи морды* и прочие *маски*); маски надетые — предрассудки; пока они — удел личности, они безобразят личность, а не индивидуальное *"Я"*; но в социальном сплетении, в обществе, рост предрассудков — невероятен; в нем каждый, отдельно взятый, надетый лишь маской на *"я"*, оплетает уже весь Индивидуум; общественные коллективы суть коллективы равнения всех предрассудков в единую линию ужасной чудовищности; коллективы, в таком равнении взятые, — кладбище ценностей; оформление из личной платформы становится, так сказать, железнодорожной платформой, поставленной на неизбежные рельсы; а *"я"*, сидящее посредине платформы, становится пассивно увозимую кладью в места, куда... *"Макар телят не гонял"*. Трагедия людей внутри коллективов: разъезд платформ или разрыв ценных *"индивидуальных"* связей по воле *"платформы"*. *"Хотел бы дружить, да... платформа увозит"*. Или же: не разъезд платформ, а — железнодорожная катастрофа с уже не расхождением, а с ударами друг друга: порой... до смерти.

Разъезд *"платформ"* — неволен; в случае стояния платформ рядом меж ними развивается общественность: в росте химических процессов и с выделением... вони.

На протяжении 30 лет я имел пышный опыт зрелища разложения утопии и коллективов; коллективы менялись, а причины разложения оставались теми же. Напоминаю себе, что действительность разрыва отношений с рядом любимых (и где-то еще любящих) друзей — не действительность охлаждения потенциалов связи от *"я"* к *"я"*, а — криво растущая и слепо несущая *"я"* платформа; таковы мои действительные охлаждения: с Мережковскими, Блоком, с С. М. Соловьевым, с Рачинским, с Бердяевым, с Морозовой, с А. А. Тургеневой, с Эллисом, со сколькими еще! Платформа, слепо растущая вопреки индивидуальному *"я"*, протянутому дружески к индивидуальному *"Я"*, перерастала рост отношений от *"Я"* к *"Я"*;

и — неизбежные: железнодорожный разъезд, железнодорожная катастрофа.

Железность — карма *"общества"*; но *"общество"* само — карма: дурная карма; и мы изживаем ее в форме теперь уже мирового кризиса. Напоминаю: *"общественное мнение"* назвал раз Штейнер — паразитирующими в нас личинками *"злых"*, т. е. отставших, духовных иерархий.

Одно время хотел я воскликнуть, что волю *"интер-индивидуал"*, если *"интер-социал"* так плох в нас; но *социал* и *индивидуал* — то же самое: он — социал-индивидуал; вся суть в *"интер"*, ужасно понятном; это *"интер"* — между-лежащее: не соединяющее, а мешающее соединению, оно лишь сопологает, нумерирует в дурной бесконечности линейных точек, не слагающих жеста фигуры; оно — синтез (*"сюттитэми"* — сопологаю), а не *"символ"*.

И тут я возвращаюсь к воспоминанью себя, когда мне было 16 лет и я захотел *"символизма"*; а это значило: захотел социальности, любви соединяющей, любви-мудрости, не любви абстрактной или только... половой. Это-то чувство привело меня в 1897 году к шопенгауэровской проблеме — к освобождению от полового чувства и от пустой, метафизической, социальности: все-объятия, не умеющего обнять — никого. И тут же таимая стесненность, что Соловьевы не понимают меня; так» от первого непонимания к последнему — длинная линия лет: 1897—1928. И усилия мои внести корректив с *"символизмом"*, принимаемые за

брюзжание (чего суетится!); и я понимаю людей; то, с чем я приставал, казалось невесомым; но все весомое движется по линиям невесомых сил; этого конкретно не хотят знать даже "окультисты", поступающие с "окультизмом" так, как если бы он был тысячепудовой гирей; а все — в "чуть-чуть" — черта, отделяющая дела бездарные от дел гениальных (опять истина, принятая на кончике языка, то есть — *не принятая*).

Мой "символизм" и был словами о "чуть-чуть".

Проблему "чуть-чуть" всю жизнь ставил Штейнер: и принципиально, и реально; принципиально: антропософии нет в антропософских "истинах", а только между ними, в мгновенных искрах сочетаний, контекста, фигур; реально: все книги Штейнера полны ретушами оговорок, ведущих к "чуть-чуть" упущениям в прочтении текста; *чуть-чуть*; но отбор текста в каждом из нас по-своему приводил к чуть-чуть упущениям — в упущенье "чуть-чуть"; ретушей, маленьких оговорок, ступающих глубинными шагами, но несущими пожары и взрывы заторов текста; и пожар "Гетеанума" от "чуть-чуть" упущения; и "гигантище" социальная заблуждения — гигантская неверность в культурном курсе, отложенном на периферии социальной окружности, — от угловой ошибки намерения в центре, равной какой-нибудь сотой градуса; вот где корень роста предрассудков: не взятое на учет "чуть-чуть", проваливающее гениальный замысел в бездарицу выполнения.

В медном пятаке сжата сила, способная прогнать поезд по экватору четыре раза (междуатомная теплота); и такая же сжатая сила в невытравленном предрассудке; он имеет способность социально выявиться в объеме, равном шару, построенному на линии, равной в длине четырем экваторам, если он равен пятаку по сравнению со всей землей (правдой); и тогда правда земли будет положена в склепище, отделяющее ее от неба; западные антропософы по отношению вот к такому "чуть-чуть" слепы до... артистического совершенства при всей подчас тонкости, подчас умности их рассудочных выложений.

И оттого 99% истин Штейнера минус "чуть-чуть" в их статьях, в их общественности выращивают палеонтологический музей монстров: "истин". Я бы мог приводить их сотнями. Беру лишь пример случайный, для модели: Рудольф Штейнер в молодости боролся с квантитатизмом механической теории тепла — в эпоху, когда она являлась еще господствующей в общей физике (девяностые годы); и след этой борьбы, прекрасный, лежит в работах над методикой Гете в тезисе: *квантитас минус квалитас — примысл, а не действительность*; правильно! Но: с той поры прошло сорок лет; господствовавшая теория сдана в архив; 30 лет физика преодолевала ее вместе... с доктором Штейнером; квантитативный атом стал фикцией; такого *атома* нет; нет связи *атомизма* с механизмом; и эта мысль стала рядовой мыслью у ученых вроде Пуанкаре, еще много лет назад разоблачавшего ошибки механического атомизма, ибо атом и во время Пуанкаре, и после него становился комплексом качеств, соединенных с количествами в своеобразном качественно-количественном образе-модели, скорей имажинации, чем понятия, но имажинации, проверяющей опыт и предсказывающей явления; от моделей Томсона и Резерфорда к модели Бора развивалась эта имажинация, по существу символическая, на что указывает узаконение слова *модель*, переживаемая образом вселенной.

Против эмблемы "качественная количественность" (т. е. не механическая) не протестовал Штейнер; в ней растворялся квантитатизм с его поздней фазой (теорией кванта физика Планка, которого так ценил Штейнер).

А вот доктор Колиско в чуть ли не талантливой статье (талантливой без "чуть-чуть"), с видимой убедительностью расстрелявши кватита-

тизм, предлагает на этом основании устранить атом, атомный вес, молекулярный вес и другие предрассудки химии, строя химию, свободную от предрассудков; как может такая химия строиться, раз автор строит ее из наукою упраздненного предрассудка, что "атомизм" и "механика" спаяны, что Атом — дедукция механических основоположений; предрассудок этот — вопреки реальности данных и новой химии, и новой физики, о которых просто преступно молчит Колиско (ему невыгодно упомянуть новейшие работы и выгодно кричать о преодоленной теории); разумеется: свободная от гипотез химия Колиско — выявляет громадный предрассудок, в крупном шаге назад всей химии, если бы она приняла им не вскрытое, не нужное, только схоластическое понятие: "вес соединения"; а он этим открытым "весом" дерзает ретушировать тонкую структуру формул, здесь уподобляясь художнику, пишущему малярной кистью, к моему стыду перед химиками: за антропософию.

Вникая в природу предрассудка, я ясно вижу: предрассудок — в расщудочной дедукции из тезиса Штейнера, что "качества нам даны вместе с количествами"; весь сложный материал цитат Штейнера правильно привлечен Колиско, но без... ретуши, "чуть-чуть". Ретушь — всего в одном слове Штейнера: качества и количества вместе даны... в "восприятии", а не в условном приеме количественных вычислений; вычисления менять нечего; надо изменить восприятие текста Штейнера: взять лозунг "плюс" одно слово ("в восприятии"), а не "минус" его; и так, взяв, вспомнить, что чистое "восприятие" в духе гносеологии Штейнера перее: 1) представления, 2) чувственного представления, 3) чувственности (раздражений); стало быть, взять "в восприятии" значит: 1) взять в чувственном восприятии (что и силится сделать Колиско), 2) взять в представлении, но сверхчувственном (чего Колиско не силится сделать), т. е. в имажинации, 3) взять в непредставимом, сверхчувственном восприятии (чего опять-таки Колиско не сделал), т. е. в инспирации.

Лишь в инспирации, в духовном мире, качества и количества правильно соединены в индивидуум комплекса; но там нечего оперировать с качеством и количеством; там мы имеем дело с духовным существом, говорить о котором так, как говорил Колиско, 1) бездарно, 2) ненаучно, 3) не антропософски.

Колиско не преодолел стадии рационализма, не взял качество и количество в символизме, хотя бы имажинативного восприятия (а Бор уже взял!); зачем же он топит антропософию в палеонтологического монстра?

И я в 1915 году, изучая этот лозунг, приводил его в книге "Гете и Штейнер"; но я взял на учет "символизм" в его стадии многообразия здесь допустимых эмблематизаций. Табличку из семи мироощущений, взятых в градации семи ступеней ($7 \times 7 = 49$), я приложил к книге, предварительно положив ее перед Штейнером и с час ему объясняя принцип эмблематизаций; он не только апробировал принцип, но, взяв карандашик, им сделал ретушь к схеме возможного многообразия научного эмблематизма. Я говорю об этой таблице лишь потому, что она-то и есть база, с которой я расстреливаю предрассудок Колиско.

Вот схема таблицы.

Если брать природу мира в знаке гностического мироощущения, то низшей стадией такого взятия является плюрализм; следующей, второй — дуализм; в третьей лежат расхождения о природе "универсалий" (тема средневековья); в четвертой эта тема разрешима в символизме как теории (и здесь карандашик Штейнера мне вписал "человек", ну да: "человек" — символ высшего); в этих четырех стадиях дана и схема

отношения к XXXIII курсу, где плюрализм — 12 мировоззрений, дуализм — они же в мироощущении (рационалистический гностицизм, реалистический гностицизм и т. д.), монизм — в тонизме, а символизм — в антропософизме; в пятой сфере лишь выступает проблема существования (в ином мироощущении со-деятельность, как действительность); в шестой — проблема сущего; в седьмой сфере стояло пустое место: здесь карандашик Штейнера вписал мне слово "Сущность".

Если же брать природу мира в логизме, то семь мироощутительных этапов воззрений эмблематических таковы: 1) понятие рассудка, 2) разума, 3) метода как эмблемы, 4) эмблема, 5) диалектика, 6) логика собственно, 7) логос.

В волюнтаризме эти этапы: 1) данное, 2) явление, 3) конструкция, 4) идеология, 5) идеация, 6) идеал; в эмпиризме: 1) описание, 2) классификация, 3) система, 4) синтез, 5) творчество, 6) созерцание, 7) теория ("*теория*" сама здесь "*град*", "*Новый Иерусалим*"); в мистицизме имеем: 1) раздражение, 2) впечатление, 3) восприятие, 4) переживание, 5) имагинация, 6) инспирация, 7) интуиция ("*восприятие*" здесь взято в его представляемой оформленности как неразложимого организма); в трансцендентализме: 1) механизм, 2) ставшее (формализм), 3) становление, 4) действие, 5) содействие, 6) духовное братство (как "действительность"), 7) Дух; в оккультизме: 1) элемент, 2) комплекс, 3) организм, 4) индивидуум, 5) иерархия, 6) таинство, 7) прототип.

Нетрудно видеть, что сфера "*элемента*", понятого как "*механизм*", есть сфера "*количества*" в своеобразном "*оккультном*" трансцендентализме, каким является механический атомизм, преодоленный в науке; а сфера "*качеств*" есть сфера комплексов впечатлений, как чего-то ставшего; а их надо брать в становлении; ими являются: восприятия организма, зависящие от переживания действующего индивидуума. В этом, четвертом снизу, ряду в гностической трансплантации индивидуум, переживаемый в действиях построения символизации и эмблем, есть *символ*; здесь и свободная от гипотез химия Колиско — *символ* иного, в колбу не опускаемого и в вычислениях и в расчетах не содержащегося никак.

Такова справка в духе критического рассматривания эмблем, вытекающая из позиции моего антропософского символизма, изложенного Штейнеру (оттого и таблица эмблем попала в книгу "*Гете и Штейнер*"). Если бы Колиско в духе ее продумал свою "*свободную от гипотез*", но не свободную от предрассудков химии, он устыдился бы ее напечатать и не конфузился бы перед "*профессорами*". Не конфузился бы меня и Врэдэ, предлагающая заменить эвритмией трубу телескопа, чтобы предсказывать солнечные затмения не от вычислений, а от "танцев".

Я подробно указываю на один из сотен примеров, во что вырождается антропософия, если мы упустим "*чуть-чуть*" моего *символизма* в ней. Так, упустив перспективу, себя уплощают, входя в 2 измерения и там становясь не антропософами, а жалкими теньями, пассивно влекомыми туда, куда влечет "*господин*", "*господин*" — биологическая особь, себя не выговорившая в символизме, и "*господин*" шагает в места, куда антропософский Макар не загнал бы телят. "*Телята*" — внимающая Колиско... "*паства*".

19

Иные из требовавших от меня на Западе отказа от "*символизма*" превратились в "*телят*" одного из антропософских "*колисок*", оставив внешнему миру достойную мумификацию, подточенную червями всякого "*предрассудка*"; оттого-то неясно им: что *индивидуум* их коллектива

в градации коллективов под формою ближних — один коллектив, сплетаемый социальной кармою... в общественный бред, что композиция этого бреда прочитываема так же, как прочитываемы астрономические ситуации вселенной; что без этого прочтения кармы коллектива не изменить; и суть — не в реформах "*форигандов*"; если бы они попытались читать правильно, им действительно понадобилась бы азбука для чтения; и они пришли бы... к "*символизму*", за который все так отмахивались от меня в ряде лет "*антропософских*" общений.

Ритмическую ассоциацию кармических композиций, или *вариаций* (форштандов, форм, уставов, организации, мод и прочего вздора), пора взять в тему: тема вариаций не есть вариационный конгломерат.

И "*символизм*" — тема антропософии; или же — "*антропософия*" не в теме своей; как таковая, она завтра выродится, как не выродилась одна из вариаций антропософии: "общество", которое не спасает сам... "*епископат*", хотя бы он надевал омофоры традиций... от Штейнера.

Теперешняя антропософия в статьях и речах, главным образом плюрализм и монизм, примеряемые не в символе — в синтезе пустого объятия... пустой вселенной с постоянным растаптыванием под ногами маленьких конкретностей, вроде... "*людей*", отдавших ей свою жизнь; теоретические "*чуть-чуть*" упущения и "*чуть-чуть*" недоглядки имеют следствием не "*чуть-чуть*" давимые жизни, а жизни... вовсе раздавленные, как жизнь моя периода 21—23 годов, раздавленная молчанием и впустую вымотанной у меня жертвы, поступившей вместе с "*интуициями*" в общий "*бак*", чтобы несколько "*топок*" на некоторое время ощутили потепление в общем холодного зала на одну десятую градуса.

А я, даже в личной непрезентабельности, — ни одна сотая градуса, а по крайней мере из "*37*"; если бы я "*37*" градусов моего тепла, отданных топкам, умножил на 10 — лишь "*370*" их ощутили б еле заметное потепление — на миг, а меня — не было б вовсе.

20

Все, о чем говорю, есть намек и импрессия к толстому тому исследования, которое могло бы возникнуть; если бы том написанся, — то был бы прочтен в плоскостном взятии; и "*370*" топков сказали бы:

— "Конечно".

— "И я говорю..."

— "И я..."

— "И я..."

И новый ужас возник бы от этого "Ии".

Сих "*ий*" — не хочу; и тома — не напишу.

21

Пора написаний прошла; наступает пора прочтений уже в сердце написанного; нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Но кто не имеет *письмян* в сердце и откажется от понимания слов апостола ("*Вы — письмо, написанное в сердцах*"), тот меня не поймет.

Мне это хорошо ведомо.

И оттого я — кончил: кончил себя в одном отношении, чтобы, может быть, начать или, вернее, продолжить себя в другом: в символическом. Кучино. 7 апреля 1928 года.